

ВНАМЯ

1945₂

№ 9

183357

МАРГАРИТА АЛИГЕР

ТВОЯ ПОБЕДА

Поэма

Ты молода... и будешь молода
Еще лет пять иль шесть,
А. Пушкин

За все, за все тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За мечь врагов и клевету друзей,
За жар души, растроченный в пустыне
За все, чем я обманут в жизни был—
М. Лермонтов

И вечный бой! Покой нам только снится.
А. Блок

1

Первое свечение зари
путь в дома разыскивает ловко.
За три года, что ни говори,
истрепалась наша маскировка.
И проснись и сразу не пойму,
что такое приключилось в мире,
в нашем городе, в моём доме,
в новой необставленной квартире.
Те же стены, потолки, полы,
те же окна, стулья и столы,
все удобно, слажено, надёжно.

Можно жить, как жили до сих пор,
пыль стирая, выметая сор.
Почему же это невозможно?
Выгоревший глобус... Полка книг...
Что ещё?

И в тот же самый миг,
словно лбом о каменную стену,
ударяюсь о свою беду.
По глазам ладонью проведу...
Тапочки нашарю и надену...
День прожить — пустыню перейти.

2

Именно вот так всё это было.
Солнце вдоль и поперёк пути.
Солнце громыhalo и трубило.
Солнце жгло до колотья в ушах.
Верить в дождик, значит, верить в
чудо.
В сердце отдавался каждый шаг,
каждое движение верблюда.

И живую свежестью дая
издали сверкающая влага,—
милая моя Аму-Дарья,
бесноватая река-бродяга.
Добрым водам слава и почёт.
По ковру цветных песков и глины
торопливая река течёт,
изменяя краски и глубины.

Ис-таки ты старишься, река.
Человек мудриг с твоей водою.
Минули не годы, а века.
Ты была шальнойю, молодую.
Верная капризу своему,
никому не уступая в споре,
ты ушла из Каспия, Аму,
и в Аральское ворвалась море.
За тобой вдогонку шли войска,
и тобою грезил Пётр Великий...
В жёлтое безмолвие песка
мчатся говорливые арыки.
Солнце жжёт. Иди, верблюд, иди.
Жаловаться больше я не буду.
Солнце сзади, солнце впереди,
слева, справа, рядом и повсюду.
А на сердце сонно и легко.
Мир окрашен справедливым светом.

Это невозвратно далеко.
Я не смею вспоминать об этом.
Это там, за черною чертой,
за соленым красным рёвом моря.
Я должна забыть о жизни той.
Я не смею отдыхать от горя.

Но постой, припомни что к чему,
от излук, заросших камышами,
от седой оскаленной Аму
я ушла чудесными путями.

Я тебя благословляю, случай,
за тебя ручаюсь головой.
На степной донской реке Кундрючей,
под богатой южной синевой,
рос в станице смуглый казачонок,
диковат, бесстрашен и упрям,
крал арбузы, обижал девчонок,
из рогатки бил по воробьям.
Выдумщик и заводила в драке,
не боялся в мире ничего.
Жеребята, голуби, собаки
упоенно верили в него.
Матери на радость и на горе,
быстро он на белом свете рос, —
на припёке, на степном просторе,
в свете неба и в свеченье рос.
Как-то на заре он в поле вышел

Женщины! В прямой и чистый час
неизбежного единоборства,
женщины, которая из вас
скажет мне, не опуская глаз,
без утайки, позы и притворства,
что, когда возникнет перед ней,
вопреки судьбе и суесловью,
странный призрак в миллионах дней
кратко именуемый любовью,
в тот же самый просветленный миг,
позабыв заботы и невзгоды,
для ее пленительных вериг
не отдаст она своей свободы,
своего любимого труда,
своего отеческого дома,
что она не кинется туда,
золотым предчувствием влекома,
что пред ней не засияет мрак.
что враги не стихнут перед нею.
Женщине, что мне ответит так,
я скажу, что я ее жалею,
я скажу, что мир ее убог,
труд ее не будет дорог людям,
и что скудости её дорог
мы от скуки даже не осудим.
Память, погоди, не прекословь, —
что твои мне трезвые порядки?
На пути мне встретилась любовь.
Я пошла навстречу без оглядки.

3

и пошел, не думая куда,
и притих, и музыку услышал,
и в нее поверил навсегда.
Он вздохнул глубоко, без опаски,
захлебнулся небом голубым,
и ему в глаза сверкнули краски,
людям недоступные другим.
Сам с собой оставшись в поле чистом,
уступая трепету души,
он себя почувствовал артистом
и на век судьбу свою решил.
И таким неслыханно богатым
он себя на свете увидал,
другом ветру, солнцу младшим
братом,
щедрым и готовым для труда.
Так бы вот пошел по белу свету,

океаны вплавь переплывал,
звонкую чеканил бы монету,
людям свой достаток раздавал.
Сочетанье слов, касанье кисти,
музыка, живущая вокруг,
утренние краски бескорыстья,
благородства высочайший звук.
Юноша застыл перед задачей
выбора судьбы и ремесла.

Той порой, наверное, иначе
девочка какая-то росла.
Далеко-далеко от Кундрючей,
на другой реке она жила.
И своих подружек чем-то лучше,
чем-то хуже, видимо, была.
Девочка,
красивой или нет
ты росла? По совести, не знаю.

Красота — из сердца бьющий свет,
над березами заря сквозная.
Ты ее туши и не туши,
разгорится и в крошечном мраке.
Это праздник молодой души,
и его достоин в жизни всякий.

Выросла и вырвалась из плена
теплых комнат и любимых книг.
Молодости море по колено,
но она задумалась на миг.
Идеалы... Правда... Чувство долга...
Дальней цели синяя звезда...
Молодость, задумываться долго
нам не удавалось никогда.
Все, что причиталось ей по счету,
девочка от детства забрала
и на комсомольскую работу
послана в Туркмению была.

4

Мои подружки, сёстры, одноклассники,
девичества родные голоса!
Встают пейзажи первой пятiletки:
тайга, пустыня, трубы и леса.
Все расставанья, проводы, объятья...
Фанерные баульчики легки.
Застиранные старенькие платья,
уродливые толстые чулки.
Красавицы мои, и вам к лицу бы,
и вам бы по плечу бы да с руки,
лукавый бархат, ласковые шубы,
да тоненькие злые каблучки.
Как в сказке, чернобровы, белолыцы,
ни словом, ни пером не описать,
и вы свои мохнатые ресницы
умели бы по-царски поднимать.
И вы бы выступали словно павы,
прекрасные, как летняя гроза.
Но свет другой, холодной, трудной
славы
безжалостно ударил вам в глаза.
На белом теле жёсткие рубашки,
ремни на гимнастёрке вперекрест...
Сиротки, бесприданницы, бедняжки, —
а где найти прекраснее невест?
Таких надежных, верных и горячих,
строителям и воинам подстать.

В какие хочешь рубища упрячь их,
проглянет их особенная статья.
И тот, кто приходился вам по нраву,
не мог пройти стороной никогда.
Любимые давались вам по праву,
за годы беззаветного труда.
Как на духу, я говорю, девчата,
сегодня мне никто не прекословь,
не знали мы лукавства и разврата,
мы знали только чистую любовь.
Мы путать да хитрить не обучились,
не опускали засиявших глаз,
и если мы на чувства не скупились,
и если жить на свете торопились,
кто попрекнет и кто осудит нас?
Спешили мы, — авралы да тревоги,
да сердца переполненного стук,
мобилизаций дальние дороги
и горькое предчувствие разлук.
Да песенные наши расставанья,
транзиты, пересадки, поезда,
да русские большие расстоянья, —
над белым полем чистая звезда.
Пустыни, горы, стойбища оленьи...
Прощай, прощай и помни обо мне
Так торопилось наше поколение
навстречу неминуемой войне.

И тебе благословляю, случай,
 издавна сдружившийся со мной.
 Самый ты заботливый и лучший
 друг людей под солнцем и луной.
 Кто в тебя поверит, не остынет
 и не разуверится вовек.

Услыхать симфонию пустыни
 из Москвы приехал человек.
 Как ее выносливые травы
 в вечеру безветренном шумят
 и какие сладкие отравы
 смуглые пески ее таят.
 Музыки ее нещедрой ради
 стал он нашим гостем дорогим.
 Был он молод, прямодушен, жаден,
 будущим волнуем и томим.
 Все вокруг цело, входили люди
 прямо в душу, — вот тебе и друг!
 И девчонка, слету, на верблюде,
 в этот милый мир явилась вдруг.

Полюбить. Взглянуть, и удивиться,
 и узнать, и вздрогнуть — это тот!
 Раньше надо по уши влюбиться
 в землю, на которой он живёт.
 Чтобы мир предстал достойной рамой

для того, кто стал твоей мечтой,
 скинув шапку с головы упрямой
 перед ежедневной красотой,
 низко поклонись сиянью неба,
 теплomu шуршанию дождей,
 прорастанью молодого хлеба,
 запахам базарных площадей,
 жарким грозам, ветреным разливам
 неуступчивых студеных рек,
 и тебе покажется красивым
 выбранный тобою человек.

Кто из нас кого заметил первый, —
 сколько раз мы спорили с тобой.

Глинобитный домик голубой,
 на столе бутылки и консервы.
 Бескорыстные мои друзья,
 добрые ребята из райкома,
 временем безжалостным влекомой,
 мне о вас нигде забыть нельзя.
 Не забыть мне свадебного плова,
 молодого мутного вина,
 добрых гостей, дружеского слова,
 песни, возвращающейся снова,
 моего смущенья молодого, —
 мой любимый, я твоя жена.

Но праздники не могут длиться вечно,
 вступают будни в силу и права.
 Садится солнце, время быстротечно,
 стихает шум, трезвеет голова.
 Молодожены в золотом угаре,
 в дороге мы не замечали дней.
 Но вот мы на Рождественском
 бульваре,
 в десятиметровой комнате твоей.
 Вот он каков, мой дом обетованный,
 моя судьба на много-много лет.
 Нам вместо стульев служат чемоданы,
 тарелок нет, и денег тоже нет.
 Но нам еще нескоро стало тесно, —
 хватило б места книги разложить.
 Сначала было очень интересно
 на новом месте вместе с милым жить.
 И заводить хозяйство понемногу,
 учиться стряпать и чинить носки,

не собираясь в дальнюю дорогу
 и забывая вечные пески.
 Неужто я качалась на верблюде,
 пила каймак и не боялась змей?
 Твои друзья — особенные люди,
 поди-ка, им понравиться сумей.
 Они со мной свои заводят счёты:
 я другу их роднее, чем они.
 Пришла в райком, — не жить же без
 работы.

В Москве так быстро пролетают дни.
 В Москве так быстро пролетают годы,
 а столько беготни и суеты.
 От теплых дней до первой непогоды
 не успеваешь оглянуться ты.
 Бывало так вот, вечером досужим,
 опомнишься и ахнешь, — год прошёл!
 Но я жила на свете рядом с мужем,
 с другим характером, с другой душой.

Каким особым был ты мечен знаком,
мой суженый, мой избранный, мой
муж?

Кто смел шутить над нашим ранним
браком,
над праздничным союзом наших душ?
Над нашим незаметным, чебывальым,
величественным, мешкотным трудом;
добиться счастья, не мириться с
малым,
семью наладить и построить дом.
Неопытности незнакома поза,
для тех, кто любит, компромиссов нет.
Мы так хотели правды и серьезая,
как можно только в двадцать с малым
лет.

Высокий лад давался нам не просто,
налаживать его куда трудней
для двух людей не маленького роста,
с упрямством, нравом, волею своей.
Как будто все совсем как сердце
просит,

глядишь — опять ломается весло,
опять тебя от берега относит
твоё большое злое ремесло.
Ты за работой. Крепкий чай не допит.
Глухая полночь, лампы зажжены.
А мной еще был не освоен опыт
навек примирившейся жены
художника. Мне был неведом нор
крутого нетерпимого труда.
Как много было споров, разговоров,
неразберихи в первые года.
И всякий раз иною стороною,
по-новому волнуясь и дыша,
вставала в полный рост передо мною
любимого богатая душа.
Я знала: это не было игрою,
таков уж был он, твой душевный
строй.

Как весело бывало мне порою
и как бывало страшно мне порой.

Какою музой будешь ты воспета,
отчаянна, страшна и хороша,
исполненная сумрака и света,
душа ребенка, странника, поэта,
таинственная русская душа?
Кто может столько на земле увидеть,

так полюбить и так возненавидеть,
так резко остывать и пламенеть?
Кто может так безжалостно обидеть
и так самозабвенно пожалеть?
И кто еще другой на белом свете,
и жив и движим вечною борьбой
и стоя перед совестью в ответе,
сражается в веках с самим собой.
За внешней гладью облика простого
такая схватка исподволь идет, —
пускай не Достоевского — Толстого, —
и это тоже, знаете, не мед.
Да, я хлебнула этого «не меда»,
с любимым другом в собственном
дому.

Едва моя веселая свобода
не подчинилась гнету твоему.
Едва меня не сшибло на колени,
не искривило судорогой бровь.
Вот так и наступает разлюбленье
иль снова начинается любовь.

Когда ты трудно открываешь в муже
все новые и новые черты,
когда ты видишь: он гораздо хуже,
гораздо лучше, чем гадала ты.
А все, о чем ты думала, гадала,
все, что мечтала ты увидеть в нем,
так небогато, так легко и мало,
в сравненьи с этим мраком и огнем.
Когда уже не юношею милым,
он человеком встанет пред тобой,
тогда подумай, овладей собой,
тогда решай: такой тебе по силам?
Такой огромный, страшный и
хороший,
коварный, верный, путанный, любой.
И если ты под этой грозной ношей
не свалишься ничтожною рабой,
и если сможешь не мечтать о чуде,
а с ним, с таким, достойно, гордо
жить
и твердо знать, что он другим не
будет,

не может быть и не обязан быть.
И если ты не грузом крестной муки
его судьбу по жизни понесешь,
а трудные неласковые руки

в свои ладошки бережно возьмишь,
и разледишь, как долго, как далеко
ты рядом с ним обязана пройти,
ни слова сожаления и упрека
не смея никогда произнести.
Возврата нет и перевалы круты,
ремни испика впиваются в плечо.
И если в эти вечные минуты
твое забьется сердце горячо
и ты поймешь, что нет тебе на свете

пути иного и судьбы иной,
что ты согласна быть за все в ответе—
покойно сердце, разум чист и светел,—
тогда и назови себя женой.
И голосом доверья и участия,
бесповоротно, побледнев чуть-чуть,
скажи ему негромко:— Здравствуй,
счастье.
Я не устану, я готова в путь.

8

Совсем не сразу прям и бескорыстен
подъем к любви для каждого из нас.
Через какой туман до этих истин
я выросла, пробилась, добралась.
Как много мне пришлось переиначить
в угоду жизни, времени, тебе
и не густым пунктиром обозначить
крутые отклонения в судьбе.
Но жизнь казалась в заговоре с нами,
союзница, которой нет верней.
И годы проходили за годами.
Мы становились старше и умней.
Все легче, все сподручней, все
знакомей...

А мы всё любим. Значит, кончен спор.
И нам квартиру дали в новом доме.
Две комнаты, балкон и коридор.

Товарищ мой, взыскательный и
строгий,
не утверждаю, спрашиваю я:
стоял ли ты однажды на пороге
проветренного светлого жилья?
Коли стоял, то все тебе знакомо:
как ты с волнением справиться не мог
и как казался не порогом дома,
порогом новой жизни тот порог.

Еще стоят в прихожей чемоданы,
еще не люстры, лампочки горят,
уже смешались крабы и бананы,
уже не трезвы и ещё не пьяны,
друзья ликуют, спорят, строят планы
советуют, пророчат, вороват.
И чей-то голос в суматохе пира,
под звон бокалов, выпитых до дна:
— Ведь это наша первая квартира.
Пока еще на всех—она одна.—
Задумались, притихли, присмирели.
Синеет утро. Как прекрасен мир.
Он весь в преддверьи новых
новоселий,

он весь в стропилах будущих
квартир.

Уходят гости... Дверью, словно
громом,
хозяева почти оглушены.

...Вспорхнули воробьи из тишины,
то новый день вставал над новым
домом.

И, все противоречия решая,
единственно возможна и верна,
вставала жизнь, надежная, большая
И вот тогда и грянула война.

9

Вот и все. Опять пора в дорогу.
Длинный-длинный, дымный-дымный
путь.

Погоди, повремени чуть-чуть.
Мы ведь не успели отдохнуть.
Мы спешили жить.

И слава богу!
Ни о чем я в жизни не жалею,

я благословляю в этот час
все, что я сегодня числить смею
достоянием каждого из нас.
Нрав непримиримый и горячий,
наши недохватки, неудачи,
неустроенный холодный быт,
нашу неприкаянность, нескладность,
наше любопытство, нашу жадность,

все, что память бережно хранит.
Хорошо, что мы на все дерзали,
что себя не думали беречь.

На замаскированном вокзале
рюкзаков не сбрасывают с плеч,
статут расставанья забывают,
самых нужных слов не говорят,
ни о чем не просят, все прощают
и спешат, спешат, спешат, спешат.

Значит, дело было лишь за этим?
Лишь за тем, чтоб грянул этот час?

Люди, расскажите вашим детям
краткий и торжественный рассказ
о веселом молодом народе,
что стоял на стыке всех дорог,
строил, ладил, делал все, что мог,
а сегодня на войну уходит,
чтоб испить страданья полной чашей,
не изведав жизни, насмерть встать.

Кто же смеет молодости нашей
жалкие упреки посылать?!
Мы вздохнуть на свете не успели,
мы своих не предьявили прав.

Что случилось?

Ты стоишь в шинели,
Обернулся к западу состав.
Рвутся мысли, путаются нити.
Голосит, вопит, молчит народ.
Вот и все!

Верните мне, верните
только этот наш минувший год.
Я тогда за все, на все отвечу.
Тише, тише, слушайте меня!
Возвратите мне вчерашний вечер
или утро нынешнего дня.
Может, просто грохнуться со стоном?
Станет все иначе... Или нет?

— Эшелон! К отправке! По вагонам!—
Я бегу за поездом вослед.

10

Есть свойство у памяти женской—
храненье отмеченных дат.
Я помню паденье Смоленска,
над Пресней зловещий закат.
Стоит дымовая завеса,
безрадостен утренний свет.
Горит— не сгорает Одесса,
не слышно турбин Днепрогэса,
у нас Белоруссии нет.
Зловеще гремит канонада
над едкими топами Мги.
Россия! Вокруг Ленинграда
кольцо замыкают враги.
С вопросом, с тревогой, с тоскою
глядим мы друг другу в глаза.
Но лучшее свойство людское
ничем переспорить нельзя.
С упрямой мечтою о чуде,
с привычкой к борьбе и к труду,—
со всем уживаются люди,
любую выносят беду.
Под самой немыслимой ношей
не падают наземь пластом.

Будь счастлив, народ мой хороший!
Живи и упорствуй на том.

Не нужно ни лжи, ни ошибки.
Мы пошлым ханжам не сродни.
Нам светлая сила улыбки
светила и в страшные дни.
Мы жили, мы попросту жили, —
видать уж характер таков.
Во время тревог мы сложили
немало веселых стихов.
Немало придумали шуток,
в бомбежке не видя помех.

На горе отзывчив и чуток,
охоч и податлив на смех,
прекрасен своей благородной,
спокойной и сильной душой,
он верил, он верил, народ мой,
единственной правде большой.
И веры своей беспредельней
он в мире не знал ничего.
Победа, победа под Ельней!
И солнца поток лучевой.

Холодная дальняя проснь,
кленовый огонь у дорог,
сухая прозрачная осень,
полночные плачи тревог.
На сердце покой и свобода,
которым и страх невдомек.
Октябрь сорок первого года,
последний хрустальный денек.
Запомнилось четко и странно,
какая погода была.

11

Но это явь. По улицам Москвы,
где пели физкультурные парады,
ведут противотанковые рвы,
вдоль всех Садовых ставят баррикады.
Здесь, может быть, завяжутся бои,
достойные шекспировских трагедий.
Сюда придут товарищи мои,
случайные знакомые, соседи.
Простые люди, вы, на первый взгляд,
с бессмертными героями не схожи,
но, может статься: сотни лет назад
и те глядели проще и моложе.
И те не знали театральных поз
и ямбами еще не говорили,
немногословно, истинно, всерьез
свою судьбу и родину любили.
И, сущим вдохновением горя,
сражались храбро, умирали трудно
Короткая осенняя заря.
На улицах торжественно-безлюдно.
Бессонный взгляд и царственная стать
и грустный запах листьев на
бульварах.
Москва, Москва, мне некого спасать,
нет у меня ни маленьких, ни старых.
Есть у меня любовь, она — в огне,
она ушла вперед — навстречу бою.
Есть у меня душа, она — во мне,
она и я останемся с тобою.

И танки Гудериана
на выбоинах Орла.
Фронт прорван, разломан, разрезан.
И ночи и дни напролет
железо, железо, железо
ревет, и ревет, и ревет.
Рассвет неуверенный брезжит,
и утро, как сон наяву,
и безостановочный скрежет
ползет и ползет на Москву.

И будем ждать врага лицом к лицу,
бойцы Москвы, бойцы советской
власти.

Так значит по Садовому кольцу
прогромяхают
вражеские
части?

Не будет так!
Но может быть и так.
Все это явь, а не пустые бредни.

Мне приказали уложить рюкзак,
и я его поставила в передней.
Каким он был имуществом богат,
завязанный, чтобы итти далеко.
Белья две смены, мыло, шоколад,
семь сухарей и однотомник Блока.
Но дома мне не приходилось жить
в райкомах и в МК хватало дела,
и если бы случилось уходить,
я забежать за ним бы не успела.
И он стоял, забившись в уголок,
уже покрытый легким слоем пыли.
И для него настал черед и срок,
и про него не надолго забыли.
Ввалились как-то несколько ребят.
За окнами метель мела жестоко.
Мы съели сухари и шоколад
и безвозвратно вытащили Блока.

12

С сумерками город затихал,
без огней дежуря на морозе.
Было что-то в том, как он стоял,
в облике, в повадке, в самой позе,

в страстном напряжении его,
недоступное и непростое,
будто не из камня он построен,
будто он живое существо.

Так пускай запомнится навек,
как сосредоточен и покоен,
он стоял, как сильный человек,
как великий неизвестный воин,
тот, который в грохоте атак,
в бури огневеющего мрака,
на пути врага встает, да так,
что она срывается, атака.
Что творится в сердце у него,
смело выходящего под пули,
чтоб враги заметили его,
дрогнули, застыли, повернули?
Сколько чувств внезапно оживет
в памяти, в мозгу, в душе горячей
в то мгновенье, когда он поймет,
что не может поступить иначе?
И какому чувству вопреки,
по чьему невидимому знаку
он рванется, стиснет кулаки,
выйдет, встанет и сорвет атаку.
Музыка звучит, наверно, в нем,
и весна над ним, наверно, веет.
Что он помнит, стоя под огнем?
Чем гордится и о чем жалеет?

Это все постиг живой душой,
очень древнею и очень детской,
этот город, странный и большой,
бесконечно русский и советский.
Каждый человек и каждый дом,
их переживания и страсти,
недохватки, беды, жажда счастья,
как живые чувства, жили в нем.

У меня был островок добра
в море злого холода и мрака.
Кактусы, картины, книги, бра,
черная мохнатая собака...
Дом Друзей. Не спрашивайте, чей.
Точный адрес спутает и свяжет.
Каждый из военных москвичей
дом такой припомнит и укажет.
Каждый будет свято убежден
в том, что адрес знает только он.
И да будет так. Не надо спора.
Каждому — свое, а для меня,
среди ночи, среди бела дня
он стоит, величие храня,

Он не брал обетов никаких,
не пытал, не требовал, не мучил,
он их знал, людей, и верил в них, —
пусть живут, как им сдается лучше.
Пусть смеются, плачут, любят, ждут,
трудятся и думают о хлебе.
Он для них — твердыня и редут,
и они его не подведут,
и одна у них судьба и жребий.

Твердо встав под вражеским огнем,
как герой, он был великодушен.
Если даже находились в нем
подленькие маленькие души,
город знал, махнув на них рукой,
что его воинственный покой
их возней не может быть нарушен.
Он без них судьбу свою решил,
и в самом клубке противоречий,
скрытом в глубине его души,
тоже было что-то человеческое.

Он стоял, оборотясь лицом
в сторону Можайска, Гжатска, Ржева,
вросшим в землю каменным бойцом,
потемневшим от сухого гнева.
Нужно было веровать и сметь
так стоять, как он стоял в ту осень.
Так стоят, когда стоят насмерть,
так в веках стояли двадцать восемь,
и навеки верные мечте
и неоспоримой чистоте,
молодогвардейцы на допросе.

13

в переулке имени актера.
Это был хороший теплый дом,
где всегда друзья бывали кстати
и на всех хватало в доме том
одеял, подушек и кроватей.
Если даже не было еды,
никогда никто голодным не был.
Пели в кухне чайники воды
и поджаренным тянуло хлебом.
Всем хватало места за столом.
Почему же голодно? Нелепысь!
Дом Друзей — благословенный дом,
устоявшая в осаде крепость.

Перила посная зима.
Путникам, с дороги заснеженным,
не стучаться в милые дома,
не склоняться к выбежавшим женам,
с холоду не целовать детей.
Где они, любимые?

Далеко.

Солнце подымается с востока.
И стоит на стыке всех путей,
где-то в переулке неметенном,
доброе пристанище в грозе,
распахнувший двери Дом Друзей,
выдержавшим штурмы бастионом.
Стал он местом небывалых встреч.
Сбрось котомку с утомленных плеч,
здесь тебе найдется, где прилечь.
Отряхни у двери пыль дороги.
Для тебя тут сберегли уют.
В этом доме и неожиданных ждут
и незваных встретят на пороге.
Путь сюда со всех вокзалов прям.
Никаких не слали телеграмм,
просто днем и ночью приезжали.
И стоял в доме веселый гам
и рюкзаки на полу лежали.
И когда ты мимо ни пройдешь,
и в какое время ни зайдешь,
неизменно в маленькой прихожей
чьи-то полушубки и мешки.
— Кто у вас в гостях?

— Фронтовики. —

И пахнёт махрой, овчиной, кожей.
И навстречу хлынет светлый шум.
Заходи, целуйся наобум.
Никакой ошибки быть не может.
Дом Друзей — три лета, три зимы
на его огонь слетались мы,
только нас все меньше становилось.
Минут годы, но сюда придут
в день победы все, кто доживут,
что бы с ними в жизни ни случилось.
Пусть же славится на много лет,
поколеньям будущим наука,
ваш непревзойденный винегрет,
ваша редька с луком и без лука.
Минут годы, но еще не раз
этот дом добром помянет нас,
по любви испытанной и старой.
Сутолоку, песни, ералаш,
да простит нам каптенармус ваш,

грозно именуемый Варварой.
По-иному бы снести нельзя
стужи, за окошком распостертой.
Дом Друзей. Но кто они, друзья?
Команданты доблестного форта.

Есть такой народ в краю у нас,
сердцем не стареющий нимало,
чья большая юность началась
музыкой «Интернационала».
Есть такой народ у нас в краю, —
выходить в запас ему не скоро, —
что услышал молодость свою
в час, когда ударила Аврора.
Есть у нас в краю такой народ,
из Кронштадта, с Выборгской и
с Пресни, .

что поныне со слезой поет
Октября мальчишеские песни.
В тусклые осенние деньки,
повязав малиновые ленты,
по сигналу ленинской руки
шли мастеровые и студенты,
твердо ведая, чего хотят,
веря в силу и не веря в чудо.

До сих пор еще глаза горят
у людей, шагающих оттуда.
И взволнованно встречали их
театров запыленные подмостки,
и над ними свой кумачный стих
подымал Владимир Маяковский.
Все вокруг ломая и круша,
надышавшись волею большою,
шли они, — в кармане ни гроша,
целый мир за молодой душою.

Далеко-далёко те года.
Целый век с тех пор на свете прожит.
Только тот, кто молод был тогда,
никогда состариться не может.
Русской революцией согрет,
он не разоидется с молодыми,
позабыв, что двадцать с лишним лет
как-то умещаются меж ними.
Ввек он не научится копить,
запирать добро семью замками
и, поколдовав над сундуками,
доброе вино без друга пить.
И уж не удастся никому,
никаким хитросплетенным путам,

запереть его в своем дому,
завалить его своим уютом.
Он его наладит, свой уют,
дом, который прочен и не скуден,
и откроет дверь, — пускай войдут,
зашумят, заспорят, запоют,
зачудят, закуролесят люди.
И, красивых слов не говоря,
твердо веря: эти люди стоят, —
душу, молодую с Октября,
он для них, как комнату, откроет.
Дружество — диковинный талант,
не всегда понятный людям раньше. —
Вот таков был форта комендант,
на такой женился комендантше.

И когда над миром грянул бой
и дороги утонули в дыме,
с родиною спаяны судьбой,
эти люди стали рядовыми.
Вздрагивает добрый комендант,
на глазах сникая и старея...
...Где-то ходит младший лейтенант,
и готова к бою батарея...
Не повадки, не черты лица, —
большее от нас уносят дети.
Это сердце старого отца
ходит там, у немцев на примете.

Узлом дорог, симпатий и родства,
зимою настороженной и темной,
была в Москве гостиница «Москва»,
страннопримный, странный дом
огромный.

О, как мы мало думали о ней
в былой Москве порою мирных дней,
как изредка ее мы замечали.
И нового значения полна,
среди столицы поднялась она
в дни всенародной скорби и печали.
Я лучше потихоньку отвернусь:
проходит поседевший белорусс,
дыша родны болотистым туманом.
Что видит он? Сожженный отчий дом...
Своих детей, замученных врагом...
Заваленную тропку к партизанам...

А вот другой, мечтатель и поэт.
В полоне Киев, и покоя нет.

Руки до него не дотянуть,
не согреть ладонями своими...
И натянута беспощадный путь
сухожильем ноющим меж ними.

Дом Друзей — жилой московский дом,
со своей похожею судьбою...
— В наступленье Батарея к бою! —
Грянул залп...

И разразился гром.
Духота смыкается кольцом,
глушит крик бессилие, как вата.
Небеса разверзлись над отцом
немцами убитого солдата.
Роет яму для него беда,
вешает ему на шею камень...
Мы его не пустим никуда,
дверь замкнем и вцепимся руками!
Дружество — диковинный талант —
будет нам испытанным оружием.
Младший братец, младший лейтенант,
спи спокойно, мы тебе послушим.
Мы теперь за твоего отца
пред твоею памятью в ответе,
мы — его заступники и дети,
и у нас одна судьба на свете:
наши обнаженные сердца
тоже там, у немцев на примете.

Твой стих! полны огня и крови.
С тех пор как ты армейское надел,
ты так помолодел и поседел,
настолько стал добрее и суровой.
Друг, не журись, ты наш желанный
гость.

Нам так близка твоя святая злость.
Душа горит... Чекае маты сына.
Какой там гость, когда в кармане
горсть
твоей земли священной, Украина.

В твоих стенах, гостиница «Москва»,
теснилась наша тайная тоска,
шумела, веселилась, пировала.
Гостиница «Москва», в твоих стенах
певали мы на разных языках
и втихомолку плакали бывало.

Страннопримный дом, огромный дом,
как он манит уютом и теплом,

пункт передачи писем и посылок.
Вот человек врывается сюда.
Тепло, светло, горячая вода,
замарочны ярылки бутылок.
А он проделал столько злых дорог
и так подолгу не снимал сапог, —
гудят и ноют ноги налитые.
Земным благам спасибо и поклон,
но в этот дом с собой привозит он
своей войны обычаи святые.
Они теперь шумят в его крови,
законы дружбы, братства и любви,
они с дорожной грязью не отмылись.
В твоих стенах, гостиница «Москва»,
никто украдкой не съедал куска, —
как на привале, все и всем делились.
Быть может, это кажется теперь?
Нет, это верно. В дни больших потерь
мы стали шире, проще и моложе.
Когда шумит жестокая война,
на нежность повышается цена,
любовь нужней, товарищи дороже.
Пройдут года, и битвы отшумят,
но все-таки забудется едва ли
бесельный шоколадный концентрат,
махорки затаивший аромат,
которым нас солдаты угощали.
Я для других приметы затаю,
чтоб не были вовеки позабыты

консервы, побывавшие в бою,
какие-то железные бисквиты,
и тот сырец, который пили мы
из горлышка походной старой фляги.
Под белым небом фронтовой зимы
шумит-гудит многоэтажный лагерь.

Но только люди малость отдохнут,
отмоются и что к чему поймут,
как им не трудно станет разобраться,
что этот лоск нисколько не уют,
что он не смеет домом называться.
Дом не таков, он тесный, обжитой,
таится в нем неистребимый запах.
А это так, гостиница, постой,
ночная передышка на этапах.
А дома нет, и не стихает боль,
и стонут белорусс и украинец.
Пусть налетает саранча и моль
на огонек лоснящихся гостиниц.
Пусть интендантам девушки звонят,
пускай вершится маленький разврат,
пылят ковры, благоухают ванны...
А с нас довольно, нам пора назад,
в походы, в рядовые, в партизаны...
Еще победа страшно неблизка.
Привал недолог. Мы в пути далеко.
Шумит-гудит гостиница «Москва»
среди Москвы и у войны под боком.

15

Лето сорок второго года.
Солнце скудное, небо злое.
Словно ждет чего-то погода, —
нет ни свежести, нет ни зноя.
Да не это людей тревожит
в их готовности всеоружной.
А природа понять не может,
что же людям сегодня нужно.
А по совести, им не надо
ни грозы, ни грома, ни града,
раз уже слышна канонада
из-под Ворошиловограда.
И они не дадут ответа
на твои, природа, моления.
Что им до наступленья лета
в час немецкого наступленья.
Что им в этом зыбком просторе
песнесомого синего свода.
Есть у них великое горе,

им не нужно тебя, природа.
Так ли было на самом деле?
Нет, на деле было иначе.
Отступали на август недели,
город был золотым и горячим.
И в размеренном ходе буден
столько было деньков хороших...

На бульваре в утеху людям
продают душистый горошек.
Ярко-алый и чисто-белый,
я от солнца тебя укрою.

...Мой хороший народ, мой смелый,
как же так, почему такое?
Я хочу ответа простого,
причитающегося по праву.
Я хочу не сдавать Ростова,
на Дону не сдать переправу.

Тяжко мне от смутной погоды.
Что придумать? Еще не поздно.
Как же быть? Минеральные Воды...
Разве это возможно? Грозный...

Все, что было полями хлеба,
стало нынче полями боя.
Почему это терпит небо?
Для кого оно голубое?
Чем мы живы и чем мы будем
отвечать грядущим столетьям?
Почему это терпят люди?
Как живут они рядом с этим?

Только правду понять желая,
тем смятенным нежарким летом,
неуклонно, тайно вела я
счет твоим, победа, приметам.
И они возникали всюду —
цветом, запахом, голосами.
Я указывать их не буду.
Пусть другие их ищут сами.
Не доступны простому глазу,
невесомы, неуловимы,
нет, они не дадутся сразу
равнодушно идущим мимо.
Только людям с горячим сердцем,
только людям с пристрастным
взглядом,

только честным единоверцам,
ощущающим время рядом,
тем, кто молча принял обеты,
настоящую боль изведав,
открывались твои приметы,
отступающая победа.
В чем они? В бессонной работе,
вдохновенной и неустанной.
Где они? Да вот, в переплете
книжки: «Справочник партизана».
Вот они — в величайшем чуде,
не имеющем дна и меры.
В том, как жили русские люди,
в силе их диковинной веры.
В том, как думали и трудились,
в том, как ладили и делились,
как они, без фальши и позы,
выносили беды и грозы.
Терпеливые, как солдаты
землеробной древней породы,
как винтовки, вскинув лопаты,
уходили на огороды.

Спали коротко, крепко, чутко,
много думали, ели мало.
На любовь, на песню, на шутку
их живого сердца хватало.
По разрезу глаз, по повадке
те, кто знает их, угадают,
что такие в последней схватке
побежденными не бывают.

Где-то ждать последнюю схватку?
Переходы степные долги.
Сняв пилотку, шинелька в скатку,
отступает победа к Волге.
А московский август так ярок.
В ярком свете чернее сводки.
И неожиданный щедрый подарок, —
милый друг, твой приезд короткий.

Раздраженье, усталость, нервы,
это все досужие бредни.
Мой дружок, мой родной, мой первый,
мой единственный, мой последний.
До сих пор мы не знали цену,
утвержденную чистой кровью,
золотому тайному плену,
именуемому любовью.

Разметались, сместились сутки,
уничтожились все преграды.
Как бесстыдно чисты и чутки
наши руки, касанья, взгляды.
Мир по нашему праву светел.
Дни и ночи — какая малость!
Как мы мало жили на свете.
Как нам много дожить осталось.
Откровения, как обеты,
бормотания, как молитвы,
в пыльном солнце этого лета,
в смутной музыке смертной битвы.

Только пусть не будет, не надо,
равнодушно, бесстрашно, тупо
в направлении Сталинграда
круто прущих орудий Круппа.
Только пусть не падают люди
в суховейной задонской суши.
Только пусть никто не осудит
наши руки и наши души.
Тот, упавший в пыли кровавой,
чью осколком пробило каску,
пусть простит он святое право
двух живых на земную ласку.

А тебе, стесненную, большую,
что вскормила нас и взрастила,
о прощеньи не прошу я, —
ты нам все наперед простила.
Потому что в грозную вьюгу
мы твоим покоем согреты,
это ты нас дала друг другу,
уничтожила все запреты,
без оглядки взяв на поруки
наши души и наши руки.

Ибо если в святом цветеньи
окровавленных нив и пашен,
ибо если в смутном смятеньи
многогрудной юности нашей,
на пороге ли вечной жизни,
на пороге ли вечной ночи,
безгранично вверясь отчизне,
мы видали счастье воочью,
разве это, именно это,
не оставит в вечности следа,
как твоя святая примета,
наступающая победа.

Поцелуй меня так чудесно,
чтобы мне не чувствовать тела,

чтоб с тобою мне стало тесно,
чтоб на небо я полетела.
И пока мне падать оттуда,
новым ласкам твоим на милость,
сделай так, чтоб случилось чудо,
чтобы все вокруг изменилось:
ни заклеенных накрест окон,
ни надорванной синей шторы.
Далеко, широко, высоко
разбежались мои просторы.
Птичьи звоны в небе бездонном,
разомлевших песков размывы,
и стоят меж Волгой и Доном
в медных латах сильные нивы.
Возврати мне горы и реки
и труда желанное бремя,
разреши мне любить навеки,
не оглядываясь на время.
Ведь твоей диковинной власти
нет предела и нет запрета,
ей ведь вверено наше счастье, —
почему ж ты не сделал это?
Но бессильно падают руки
на прохладные льны кровати.
Сколько нам часов до разлуки?
Сколько нам до нее объятий?

16

Опять вокруг просторнее и тише,
длиннее день и тяжелее мрак.
И это беспрестанное: он вышел,
он скоро возвратится. Нет, не так.
Не так. Не так. Касание железа
порой как лед — и как огонь порой.
Он даже не уехал. Он — отрезан,
и срез никак не порастет корой.
Как будто вечным ощущеньем боли
остался он о том напоминать,
кто не силком и не по доброй воле
уехал до победы воевать.
Ты с этой болью думай и работай,
влезай в трамвай, по улицам ходи,

и окружай ее своей заботой
и как надежду береги в груди.
Тебе придется, может быть, годами
на белом свете с этой болью жить,
и никакими чистыми бинтами
ее нельзя унять и защитить.
Она — твоя отметина и слава,
прими ее на много трудных дней.
Гордиться ею ты имеешь право,
но ты не смеешь говорить о ней.
Ее обидит праздное звучанье
неточных слов. А точных не сыскать.
Молчи о ней, и верь, — твое молчанье
ее сумеет лучше рассказать.

17

Я осенью поехала на Каму,
в татарский отдаленный городок.
Туда эвакуировали маму,
и я с ней не видалась долгий срок.

Я ехала на Каму, до Казани
на поезде, а далее водой.
И предо мной, как тихое сказанье,
Росня шла небыстрой чередой.

В ней было столько ясности и грусти,
был так покоен чистый небосвод...
Я помню, я проснулась в Камском

Устье.

Из Волги в Каму вышел пароход.
И в этом мире, вымытом и милом,
казалось, вовсе не было тревог.
Рассвет взбирался в небо по
стропилам,

день вырастал, как сказочный чертог.
И этот купол, синий-синий-синий,
был так неощутим и невесом,
была такая завершенность линий,
такая зрелость замысла во всем.
Так много было думы и заботы
в его покое и его тоске,
в сиянии щедрой позолоты
и в облачном нечаянном мазке,
как будто суждено случиться чуду
в чертоге этом, в этом чистом дне.
Неужто так же сине нынче всюду?
И там, в низовьях Волги, на войне?
Неужто это видят и фашисты,
орудья наводя на Сталинград?

Шли берега пологи и лесисты,
такие же, как сотни лет назад.
Не мы плывем — они проходят мимо,
не пароход, а их несет вода, —
деревни, почерневшие от дыма,
и вкопанные в землю города.
Они плывут, не ведая тревоги,
несомые течением вперед,
и весело встречают по дороге
на Молотов идущий пароход.
И я не знаю, кто к кому подходит, —
летит свисток, и чалка поднята,
веселая возня на пароходе,
на пристани галдеж и суета.

Продымленные, видевшие виды,
от вражеской неправды и обиды
ища защиты у родной земли,
сходили с парохода инвалиды,
еще нетвердо ставя костыли.
А вверх по сходяням, в здравии и силе
шли новобранцы в самом цвете лет...
И вдруг на берегу заголосили,
протягивая руки им вослед.

О, связь времен, великая, прямая,
ничем не истребимая в веках.

С угрюмых дней Чингиза и Мамаю,
на этих самых камских берегах,
из рода в род крепки и смуглолицы,
и в песне и в работе хороши,
на той же ноте плачут голосницы,
связав обряд с порывами души.
Из века в век пологий камский берег
творит обряд и голосит и верит
и эту веру не согнет беда.

Какой-нибудь немецкий офицерик,
из дальних мест стремящийся сюда,
что может он понять в твоей святине,
природа, охраняющая нас?
Когда он тупо шел по Украине,
когда он жег и разрушал Донбасс,
когда он лихо встал под
Сталинградом,
свои орудья выкатив вперед,
когда своим непричащенным взглядом
коснулся он великих волжских вод, —
чего он ждал?

Того, что на колени
опустится Россия перед ним?
Мы применили метод изумленья.
Его секрет мы издавна храним.

Когда тяжелой, медленной, польнной,
степной жарой, не видящей дорог,
теснимые железною лавиной,
мы молча отступали на восток,
и все вокруг гремело, будто кто-то
за облаком нещадно бьет в набат,
и перед нами распахнул ворота
большой и светлый город Сталинград,
и тысячи немецких бомбовозов
над городом висели день и ночь,
и камень стал невыносимо розов
и даже Волга не могла помочь,
когда шли танки ржаво и угрюмо,
в могуществе своем убеждены, —
никто из нас не молвил, не подумал:
— Все кончено, и мы побеждены.
— Мы победим! — звучало в смертном
stone,
под пытками, в последний страшный
час.

И офицерик ничего не понял
и, изумленный, испугался нас.
Пусть же он боится нас навеки,
от Сталинграда повернувший вспять.

— Мы победим! — гремели наши реки
и долго не желали замерзнуть.
— Мы победим! — твердили наши
дети,
растя быстрее наперекор врагу.

И на студеном, молодом рассвете,
на камском вековечном берегу
я увидела зримую победу
и верный ей выносливый народ.
Садится солнце. Завтра я доеду.
Плывет по Каме белый пароход.

18

Мама, мама, ни слезы, ни слова.
Не помогут слезы и слова.
В старости лишившаяся крова,
чем же ты довольна и жива?
Вышло так, что мы давно чужие,
розно и по-разному живем.
Но на южном берегу России
у меня всегда был мамин дом.
Там все та же милая посуда,
там все та же вкусная еда.
Если мне придется очень худо,
я еще могу уйти туда.
Вырастают и уходят дети,
но порой напоминает кровь:
есть еще пристанище на свете,
эта непреклонная любовь.

Та любовь, которая прощает
все, что ты ей сможешь предложить.
Та любовь, которая не знает,
что еще возможно разлюбить.
Та любовь, которая не помнит
ни измен, ни сроков, ни обид,
в старом доме, в полумраке комнат
запах детства твоего хранит.
Ты жила, надеялась, сидела
и хозяйство ладное вела,
доброю хозяйкою сидела
у большого круглого стола.

Но удар безжалостного грома
уничтожил твой надежный лад.
У тебя отныне нету дома.
Над тобою зарева горят.
Затемнив покой и благоденствие,
проступило через тыщи лет
дикое, обугленное сходство
с теми, у кого отчизны нет,
чью узрев невинность в приговоре
злого и неправого суда,
содрогнулась черная вода,
ахнуло и расступилось море.

Для кого опресноки сухие
божье солнце щедро напекло.
Сколько от Египта до России
верст, веков и судеб пролегло?
Мама, мама, в вечности туманной,
страдным, непроторенным путем,
сколько до земли обетованной
ты брела под солнцем и дождем?
Ты в ночи узнала эту землю
и, припав к святому рубежу,
прошептала, плача: «Все приемлю,
силы и любви не пощажу.
Дай мне лишь дымок оседлой жизни,
душу согревающий очаг».
Мама, мама, ты в своей отчизне,
но в ее пределы вторгся враг.
Бой гремит, война ревет и стонет
и, как легкий высохший листок,
из родного дома ветром гонит
мать мою с заката на восток.
Вот каков он, городок на Каме.
Надолго ль он стал твоей судьбой?
Что же это гонится за нами?
Кто же мы такие, я с тобой?
Разжигая печь и руки грея,
наново устриваясь жить,
мать моя сказала: «Мы — евреи.
Как ты смела это позабыть?»

Да, я смела, понимаешь, смела.
Было так безоблачно вокруг.
Я об этом вспомнить не успела.
С детства было как-то недосуг.
Родины себе не выбирают.
Начиная видеть и дышать,
родину на свете получают
непреложно, как отца и мать.
Дни стояли сизые, косые...
Непогода улицы мела...
Родилась я осенью в России
и меня Россия приняла.

Родина! И радости и горе
неразрывно слиты были с ней.
Родина! В любви, в бою и споре
ты была союзницей моей.
Родина! Нежнее нежной ласки
научила ты меня беречь
золотые пушкинские сказки,
Гоголя пленительную речь.
Ясную просторную природу,
кругозор на сотни верст окрест,
истинную вольность и свободу,
ленинской руки раздольный жест.

Напоила беспокойной кровью,
водами живого родника,
обожгла недоброю любовью
русского шального мужика.
Я люблю раскатыстые грозы,
хрусткий и накатанный мороз,
клейкие живительные слезы
утренних сияющих берез,
безыменных реченок излуки,
тихие вечерние поля;
я к тебе протягиваю руки,
родина единая моя.

Было трудно, может быть труднее,
только мне на все достанет сил.
Разве может быть земля роднее
той земли, где верил и любил.
Той земли, которая взрастила,
стать большой и гордой помогла.
Это правда, мама, я забыла,
я никак представить не могла,
что глядеть на небо голубое
можно только исподволь, тайком,
потому что это нас с тобою
гонят на Трехлинку босиком,
душат газом, в душегубках губят,
жгут, стреляют, вешают и рубят,
смешивают с грязью и песком.
«Мы — народ во прахе распростертый.
Мы — народ, поверженный врагом...»
Почему? За что? Какого чорта?
Мой народ, я знаю о другом.
Знаю я поэтов и ученых
разных стран, наречий и веков,
по-ребячьи жизнью увлеченных,
благородных, грустных шутников.
Щедрых, не жалеющих талантов,
не таящих лучших сил души.

Знаю я врачей и музыкантов,
тружеников малых и больших.
И потомков храбрых Маккавеев,
кровных сыновей своих отцов,
тысячи воюющих евреев —
русских командиров и бойцов.
Прославляю вас, во имя чести
племени гонимого в веках,
мальчики, пропавшие без вести,
мальчики, убитые в боях.
Поколение взрослых на свободе,
в молодом отечестве своем,
мы забыли о своем народе,
но фашисты помнили о нем.
Грянул бой. Прямее и суровой
поглядели мы на белый свет.
Я не знаю, есть ли голос крови,
знаю только: есть у крови цвет.
Этим цветом землю обагрила
сволочь, заклеянная в веках,
и людская кровь заговорила
в смертный час на разных языках.
Вот теперь я слышу голос крови,
тяжкий стон народа моего.
Все сильнее, все жестче, все грозвей
истовый подземный зов его.
Он звучит, сливаясь воедино,
в грозный немолчный океан
с Польшей, Белорусью, Украиной,
с голосами страждущих славян.
Голос крови! Тесно слита вместе
наша несмываемая кровь.
И одна у нас дорога мести,
и едины ярость и любовь.
На большой крови затянут ту же
узел нашей связи вековой.
И народ, владеющий оружием,
думающий, страстный и живой,
жизнелюб кипучий и горячий,
никаким не будет стерт врагом.
Мы живем! Не смеет быть иначе!
Говорю вам русским языком.
Мы живем и дышим. Видишь, мама!
Видишь, мать мужающих детей,
дочь твоя стоит легко и прямо
на большом скрещении путей.
На земле, в которой очень много
наших слез и крови и труда.
На земле богатой, сильной, строгой.
На земле любимой навсегда.

Стоит ноябрь, и цепенеют выси,
и надрывает первый снегопад.
К Москве, к работе, к ожидающе
писем,
к привычной жизни я плыву назад.
Стоит ноябрь, и холодно в каюте,
и Кама остановится вот-вот,
и тяжело идет не на мазуте,
а на дровах последний пароход.
Что ждет меня в конце моей дороги?
Все без меня заране решено.
Меня квартира встретит на пороге
своей настороженной тишиной.
— Опять одна? А где твой муж и
дети?

Видать, семья тебе не по плечу.—
Я ничего ей не смогу ответить.
Что отвечать? Я лучше промолчу.

Потянется военная вторая,
суровая, несытая зима.
Сугробы снега, редкие трамваи,
холодные и темные дома.
Райкомовские будни трудовые...
Не воду черпать, не дрова рубить, —
чтобы с тобою верили другие,
безмерно надо верить и любить.
А людям худо, горести, потери,
тяжелый труд и непосильный быт...
Пооди пойми, через какие двери
в доверье к ним широкий путь
открыт.

За помощью придут ли, за советом,
ты им не смеешь отказать ни в чем.
Ты — агитатор, значит, будь поэтом,
будь матерью, подругой и врачом.
Найди такие методы леченья,
такие незатертые слова,
живи в таком порыве увлеченья,
чтоб видно было всем, как ты права.
И, вопреки несытному обеду,
тревоге и усталости твоей,
в дни отступленья разгляди победу
и людям рассказать о ней сумей.
Побольше бы, пожарче бы работы,
чтоб торопили: успевай, спеши, —
чтобы пореже чувствовать пустоты,
чтоб заглушать смятение души.

Еще побольше б треугольных писем,
твоих приветов, весточек, забот...

Стоит ноябрь, и цепенеют выси,
и Кама остановится вот-вот.
И медленно под тучами проходит
последний пассажирский пароход,
и, греясь кипяточком, по погоде
на нем народ по-своему живет.
Как будто бы в холодном океане
плывет продолговатый островок,
на островке живут островитяне,
особо существующий мирок.
А впрочем, что там! Так же, как на
суше,

на пароходе жители живут,
детей качают и пеленки сушат
и песни невеселые поют.
И женщина налаживает прялку,
и гасит день короткая заря.
Пловучий островок идет вразвалку.
Холодный дождь. Шестое ноября.

Который час? Припомни время это,
всего лишь год и месяцы назад, —
нарядные, в волнах сплошного света,
куда, бывало, москвичи спешат?
И в памяти стучит взамен ответа:
Большой театр в Куйбышеве где-то,
в Сибири Малый, на Урале МХАТ.
Как это все понять? Что это значит?
Мы прижились, и притупилась боль.
Какая-то старуха молча плачет.
Кого у ней убили и давно ль?

Да что гадать? Вот так сиди с ней
рядом,
ты все равно не в силах ей помочь.

А что сегодня там, под Сталинградом?
Что изменилось в нынешнюю ночь?
Ведь будет же такая ночь на свете,
такое утро, вечер, день и час,
когда на все вопросы мы ответим,
не отводя, не опуская глаз.

Когда свои орудья с места тронем
и двинемся.

Так будет.

Но когда?
Что там еще? Что за возня в салоне?

Зачем народ толпой валит туда?
Что там шумит, настойчиво, упрямо,
то затихает, то гремит опять?
Неужто это так бушует Кама,
когда подходит время замерзать?
Нет, проломив осенние потемки,
железное бряцание дождя,
прорвался к нам медлительный,
негромкий,
бессонный голос нашего вождя.
Наперекор огню, ветрам и водам,
стрельбе орудий, скрежетанью рек,
в канун великий говорил с народом
немногословный этот человек.
И если было на душе тревожно
той осенью у каждого из нас,
его услышав, поняли мы: можно
перевести дыханье в этот час.
И дальше жить по-своему на свете —
пусть дальше нитку женщина сучит,
мотор стрекочет, завывает ветер
и маленький залиvisto кричит.

И следуя порыву и влеченью
испытанного сердца своего,
пускай Россия следует теченью
его ученья, голоса его.

Не прибегая к образам цветистым,
с ухватками трибунов незнаком,
он говорил торжественным и чистым
непримиримым русским языком.
Ему был тон искательный неведом,
он утешать слащаво не привык,
но если б говорить могла победа,
она бы этот выбрала язык.

Не гром рукоплесканий — за кормою
всю ночь вода гремела напролет.
И в эту ночь, с шестого на седьмое,
из Камы в Волгу вышел пароход.
В мерцаньи утра, ворожа и бредя,
тремя и плача смертным битвам в лад,
шла Волга в море, как страна к
победе,
со стоном огибая Сталинград.

20

Как имя друга, клятву и молитву,
Москва твердила имя «Сталинград»,
готовая сама рвануться в битву,
притти тебе на помощь, младший брат.

Мои родные города России,
на вечные века земной поклон
гранитной вашей верности и силе,
ожившему звучанию имен.

Сидят ланжеронские массивы,
искрится хаджибейский солончак...
В тылу у немцев морячок красивый,
мечтатель, музыкант и весельчак.
Кадет весна сиреневою почкой,
цветут каштаны, верещит сверчок.
Густой законспирированной ночью
из катакомб выходит морячок.
Он милых не насвистывает песен,
босяцкою походочкой идет,
клент листовки по своей Одессе
и совести врагам не продает.

Последние умолкли минометы...
Уходят с Графской пристани суда...
И падает боец морской пехоты,

у моря оставаясь навсегда.
И гробовым молчаньем отвечая
всем голосам, биенью всех сердец,
под всплески волн и вскрикиванья
чаек

на гальке не шелохнется боец.
Глянь на него с Малахова кургана.
Еще недавно сильный, молодой,
сейчас он весь — одна сплошная рана,
омытая соленой водой.
Гранитные, простреленные ночи...
Хотя бы стон услышать или крик.
В кольце блокады питерский рабочий,
подпольщик, агитатор, большевик.
Но почему он кажется моложе?
Ведь миновало двадцать пять годин.
Быть может, это на отца похожий,
в отцовской вере выращенный сын?
Он, стиснув зубы, переносит пытки
морозом, страхом, голодом, огнем.
Не то, чтоб силы у него в избытке,
но мужество не иссякает в нем.
Он не предаст, не дрогнет, стерпит
муку,
отцову честь сумеет он сберечь.

Донбасса нет и писем тоже нет.
Но ты хотела думать не об этом.
Голубчик мой, у нас была с тобой
почти ребячья выдумка о счастье.
О том, как в день по-детски
голубой,
мы спустим лодку и наладим снасти.
Окажется: она недалеко —
желанная страна мечтаний наших.
...Шумит, шумит веселая река,
на низком берегу стоит шалашик...
Кто здесь его поставил? Верный друг.
Здесь мы причалим и забросим сети.
Пусть будет все по-твоему вокруг.
Пусть будет все по-нашему на свете.
Как хорошо! Как мало нужно слов.
Есть утро, небо, ласточки, товарищ...
Каким он будет, первый наш улов?
Какую ты уху к обеду сварить?
Покойно и отрадно на душе.
Забудусь я блаженным сном
коротким.
Но почему так тихо в шалаше?

Ни шалаша, ни берега, ни лодки.
Прости, прости беспомощность мою,
не упрекай и не суди сурово.
Я—в темном тихом доме. Ты—в бою.
И от тебя давным-давно ни слова.

Загадывать не надо наперед,
заглядывать в грядущее не надо.
Живи и верь, и он к тебе придет—
твоя заступа и твоя награда.
Теперь война. Мы будем жить потом.
И будет все по-нашему на свете.
Мы все-таки наладим добрый дом,
и в этом доме застрекочут дети.
Холодный ветер, горя и потерь
горячих упований не остудит.
Я так хотела сына, но, поверь,
на свете все по-твоему теперь.
Тебе хотелось дочку? Так и будет.
Пускай она родится и растет,
забавная, с повадками твоими.
Ты можешь хоть сегодня, наперед
придумать ей какое хочешь имя.

Там думают о дочках на войне?
Обеты жен сквозь грохот боя слышат?
Или в походах, в действии, в огне
не помнят их и писем им не пишут?
Идя за отступающим врагом,
мешающие сбрасывают пуги.
О господи! Я ни о чем другом
не в силах думать больше ни минуты.
Тобою я жива и не жива.
Лишь ты — мое бессилие и воля.
Я знаю, знаю, родина сперва
и лишь потом моя земная доля.
Я знаю это, ибо я сама
твержу об этом людям неуклонно,
входя в живые теплые дома,
в цеха заводов нашего района.
Немеркнувший, непобедимый свет
моих знамен, и звезд, и партбилета
и все, чем я дышала с детских лет,
все говорит об этом и за это.
Земля родная, у твоих знамен
я с пионерских лет стою бесценно.
Но я сейчас не тут, а там, где он.
Земля родная, это не измена.
Мне для себя не нужно ничего,
я буду делать все тебе в угоду,
я за тебя пойду в огонь и в воду,
а ты мне только возврати его.
Скажи мне: год. Скажи мне: десять
лет.

Ты думаешь я испугаюсь? Нет.
Мне хватит сил. Ты не обманешь нас.
Я буду ждать. Я буду каждый час,
нет, каждый миг свой слушать твой
приказ,
одной тебе верна по доброй воле.
Но так сидеть, как я сижу сейчас,
и так не ведать, я не в силах боле.
Идут недели, и идут войска
дорогой справедливости и мести.
Мне холодно, меня трясет тоска.
И никаких ни писем, ни известий.
Весь мир лежит дорогой боевой.
Останки танков в снеговых сугробах.
И над моей безвинной головой
все тяжелей неотвратимый обух.

Я любила наступленье дня.
 Утро, утро, — даже это слово
 с детских лет звучало для меня
 празднично, торжественно и ново.
 Утро обещает целый день,
 просит быть веселой, молодою.
 Вымойся студеною водою,
 кофточку нарядную надень.
 Мы всегда доверчивей с утра,
 шире и щедрее на приветы.
 По утрам, как дальние ветра,
 к нам приходят свежие газеты.
 Утро — это праздник, всякий раз
 душу наполняющий отвагой.

Боже мой, как изменило нас
 утро, заслоненное бумагой.
 Как теперь далек он от меня
 этот свет, надолго затемненный,
 торопливое начало дня,
 праздник, всенародно отмененный.

Никакого праздника. Гремят
 к западу направленные будни.
 Днем и ночью города горят,
 и земля становится безлюдней.

Утра нет, и ночи тоже нет.
 Только день, рабочий, смертный,
 длинный.

На какой-то срок дается свет,
 озаряя битвы и руины.
 На какой-то срок дается свет,
 чтоб вернее был прицел орудий.
 Днем ли, ночью, если боя нет,
 торопливо засыпают люди.

Надо мной «Катюши» не гремят,
 но в московском затемненном доме
 я встаю наутро, как солдат,
 малость отдохнувший на соломе.
 Я встаю и помню, что война,
 что душа на сутки стала старше.
 Я встаю и вижу из окна
 не весну, а родину на марше.
 А весна уже мутила свет,
 и зима сдавалась ей на милость.
 Я встаю и помню: писем нет.
 Надо верить, что бы ни случилось.
 С этим я в то утро поднялась,
 сполоснула сон водой бодрящей.
 На площадку! Там почтовый ящик.
 В нем письмо лежало в этот раз.

Не знаю я, что прежде, что потом.
 Не продохнуть. Весь воздух мира
 выпит.
 Когда над человеком рухнет дом,
 когда его завалит и засыплет,
 он не заметит, жив он или нет,
 не разберется — дышит иль не
 дышит...

Пройдет минута или десять лет,
 и он себя под тяжестью услышит.
 И, собственное тело ощутив,
 поежится и шевельнет ногою,
 от боли вздрогнет и поймет другое,
 единственное, главное: он жив!
 Он жив, он жив! И эта боль, и
 тяжесть,
 и запах штукатурки — он живет!
 И это счастье. На борьбу отважась,
 он, наконец, на помощь позовет.

Под тяжестью горячих кирпичей,
 сквозь духоту отравленного мрака,
 я слышу чей-то голос. Только чей?
 Наверно, мой. Не все ль равно,
 однако.

На что мне голос?

Так недалеко
 желанная страна мечтаний наших.

...Течет-течет веселая река,
 на низком берегу стоит шалашик.
 Кто здесь его поставил? Верный друг.
 Здесь мы причалим и забросим сети.
 Пусть будет все по-твоему вокруг.
 Пусть будет все по-нашему на свете.
 Но почему туманятся черты
 и я песка не слышу под ногою?
 Где небо? Где земля? Где голос твой?
 Где ты?
 Все изменилось. Все совсем другое.

И я одна. И только дымный ветер
летит навстречу, губы шелуша.
И сколько я ни бейся, нет на свете
придуманного нами шалаша.
Как я под этим грузом шевельнулась?
Как поняла, что я еще жива?
На что решилась? Для чего очнулась?
Какие мне припомнились слова?
Слова, слова! Их несколько, их мало.
Их нехватает, их почти в обрез.
Я столько раз глазами их видала,
не ощущая их лудовый вес.
Слова, слова! Не точно, не богато
звучанье их, доступное едва.
Но вам-то каково пришлось, ребята,
которые искали те слова?
А может быть, у вас вошло в
привычку
в короткий отдых между двух боев
сойтись живым и раздобыть страничку
и написать, не выбирая слов.
Простое право управляет вами, —
вы знаете в жестокий этот час,
что, может быть, такими же словами
другим придется написать о вас.
Вот именно поэтому на свете
слов чище и точнее не найти,
написанных поспешно на планшете,
устало, неразборчиво, в пути.
И мне от них не спрятаться, не
скрыться...
Они ползут повсюду вслед за мной.
Заполнен воздух ими и войной.
...Моих друзей растерянные лица.
Какая-то виновность предо мной.
О, как они сегодня небогаты!
Беспомощен и робок каждый взгляд.
Мои родные, вы не виноваты.
Никто, никто ни в чем не виноват.

Вы можете не говорить ни слова.
Я все слова скажу себе сама.
Не беспокойтесь. Ничего такого.
Я не умру и не сойду с ума.
На свете вовсе не меня убили.
Его убили, а вот я живу.
...Привстать. Решиться. Несколько
усилий.
Увидеть небо, улицу, Москву.

А там уже давно свершилось лето,
и суегилаась пыльная листва,
и все казалось вымыто, прогрето,
как будто в ожиданьи торжества.
Стояли люди, и шумели дети.
Был воздух ожиданием томим.
Еще бывают праздники на свете?
Еще придется радоваться им?
Каким же сердцем? Этим же,
прозненным?

Его уже ничем не обновят..

Малиновым, лиловым и зеленым
рассыпался над городом раскат.
Самозабвенно ликовали люди,
созвездьями побед озарены.
И в залах торжествующих орудий
они уже не слышали войны.
Они уже не думали о смерти,
бессмертия увидевшие свет.
Пускай пути нарядные прочертят
чудесные сплетения ракет.
Как будто мы на новогодней елке
и жить на свете много-много лет...
И падают веселые осколки,
причудливый вычерчивая след.
Так, салютуя боевой удаче,
благословляя армию: — Вперед! —
делился с миром радостью ребячьей
для счастья существующий народ.

24

День прожить — пустыню перейти.
Поскорей бы стали дни короче.
Поскорей бы дух перевести.
Поскорей добраться бы до ночи.
Ночью ни звезды и ни костра.
Ночью ни ответа, ни привета.
Поскорей дожить бы до утра.
Поскорей добраться бы до света.

Милый мой, родной мой, бедный мой.
Вот и все. С тебя теперь довольно.
Это было, стало быть, зимой.
Снег и ветер, холодно и больно.
Ты упал и раненым плечом
отогрел снежок у краснотала
и затих, не помня ни о чем,
забывая боль. А я не знала!

Внутрь мысли, пугаются нити,
голоса, слова, обрывки фраз...
Воз и все! Верните мне, верните
еще один, еще последний час,
чтоб воздухом бодрящим, добрым,
старым,
моим с тобою надышаться мне.
Верните мне потерянный задаром
в перонной суете и толкотне
час скомканного нашего прощанья.
Я все спрошу, я вспомню все слова.
Верните мне большие ожидания,—
как долго ими я была жива!
Позвольте мне довериться обману
и тот обман надеждой называть.
Верните мне то утро,—я не стану
почтовый ящик больше открывать.
Не все ль равно вам? Непосильно
тяжек
вес истины. А дом угрюм и тих.
Кого ты просишь? Никаких побряжек,
уступок, оговорок никаких.

День прожить — пустыню перейти.
Бьет в лицо пустыня ветром резким.
Замело, засыпало пути.
Некуда идти и спорить не с кем.
Что же делать? Голову сложить?
Замолчать в бессильи человечьем?
Даже с этим свыкнуться и жить?
Все равно ведь защищаться нечем.
Не к кому метнуться: — Помоги! —
Как тебе помочь, никто не знает.
Все воспоминания — враги.
Все, что было дорого, пытается.
Мечешься и вспоминаешь вновь
все свои ошибки и уступки.
Не из мрамора твоя любовь.
Есть на ней и шрамы и зарубки.
Может, надо их разбередить,
сделать нестерпимыми и злыми?
Старые обиды разбудить
и от горя спрятаться за ними?
Для чего? Чтоб тот, кто мной любим,
стал ничтожной, мелочней и хуже?
Это недостойное оружие.
Я не стану пользоваться им.
Трепет сердца, чистый и далекий,
я тебя не выдам, не продам.
Давние обиды и упрски

не ворвутся в мой душевный храм.
Храм! Какое выпренное слово.
Я не стану пользоваться им.
Я любила здешнего, земного.
Он бывал хорошим и плохим.
С ним бывало сумрачно и ясно,
солони и сладко, — как когда.
Но любовь не меркла, и не гасла
и не отступала никогда.

Если б я могла его увидеть
близким, ощутимым и моим,
если бы он мог меня обидеть,
если б я могла поспорить с ним.
Если б он, живой, родной, горячий,
женщину другую полюбил,
сделать так, чтоб стало все иначе,
мне б хватило мужества и сил.
Мне бы грозной правоты достало,
вдохновенья, гордости, огня,
сделать, чтоб во что бы то ни стало
снова он увидел бы меня.
Чтобы дрогнул самой чистой кровью
и опять склонился предо мной,
изумленный ясною любовью,
волей непреклонной и прямой.
А теперь кому нужны на свете
вся твоя любовь и правота?
Кто тебя услышит? Кто ответит?
Спорить не с кем. Комната пуста.

Комната пуста, но за стеною,
но за дверью, рядом и вокруг
столько разное связанных с тобою
всех твоих подруг и не-подруг.
Чем они на белом свете живы,
и какая светит им звезда,
и какие страсти и порывы
их ведут сквозь трудные года?
Ты уже сегодня старше многих,
разгляди их дальние дороги,
их земные цели угадай.
И когда я делаю доклады
и политбеседы провожу,
я ловлю их пристальные взгляды
и за их движеньями слежу.
Вместо слов обычных, ежедневных,
мне сказать им хочется порой
несколько пылающих и гневных,
слишком поздно выстраданных мной.

отаряя человеческий труд,
волю и покой.

Но может статься,
мы другой отмечены судьбой?
Молодость, не время нам прощаться?—
я устала маяться с тобой.
Молодость — одна неразбериха,
льготы и поблажки никакой.
Молодость — панацея моя и лихо,
опустила б душу на покой!
Молодость — назойливое бремя,
уходи-ка лучше со двора.
Отвечает молодость: — Не время. —
Отвечает сердце: — Не пора.
Не пора. Давай с тобой рассудим,
в будущее всмотримся опять.
Не пора. Не лги себе и людям.
Ты еще не хочешь отдыхать.
Не затем ты шла по белу свету,
напролом сквозь беды и года.

Не пора. На молодость не сетуй.
Ты не будешь старой никогда.
Молодость твоя — не твой достаток,
не твоя забота и печаль.
Наших ног бессмертный отпечаток
на дорогах, уходящих в даль.
Нет! Не все истоптаны дороги,
и не все задачи решены.
Праздничный, священный зов тревоги
явственно растет из тишины.
Добрых странствий!

В солнышко и холод.
Помнить ласку, не таить обид.
Не пора!

Лишь тот, кто жадно молод,
все-таки на свете победит.
Мы в строю, в походе, в наступленьи.
В долгосрочный нам еще нельзя.
Собирайся, наше поколеньи!
Доброго пути, мои друзья!

АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Роман¹

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Не мало дней и ночей прошло с того дня, как Матвей Шульга был брошен в тюрьму, и он потерял счет времени.

В камере его почти все время было темно,— свет пробивался через затянутую снаружи колючей проволокой и полуприкрытую навесом узкую щель под потолком.

Матвей Костиевич чувствовал себя одиноким и забытым всеми.

Иногда той или иной женщине, матери или жене, удавалось умолить немецкого солдата из жандармерии или кого-нибудь из русских «полицаяв» передать арестованному сыну или мужу что-нибудь из еды, белья. Но у Костиевича не было в Краснодаре родных. Никто из близких ему людей, старых краснодонцев, кроме Лютикова, не знал, что Костиевич оставлен в Краснодаре на подпольной работе, что сидящий в этой темной камере безвестный Евдоким Остапчук — это Костиевич.

Единственные люди, с которыми он имел дело, были люди, которые мучили его, и это были немцы. Среди них только двое говорили по-русски: немец-переводчик в кубанке на черной костяной головке и начальник полиции Сбликовский в старинных, с желтыми лампасами, необъятных казачьих шароварах и с кулаками, как конские копыта, про которого можно было бы сказать, что он еще хуже немцев, если бы возможно было быть хуже, чем они.

Костиевич с первого момента ареста не скрывал, что он человек партийный, коммунист, потому что скрывать это было бесполезно и потому, что эта прямота и правда укрепляла его силы в борьбе с людьми, которые мучили его. Он только выдавал себя за человека обыкновенного, рядового. Но как ни глупы были люди, мучившие его, они по облику его и поведению видели, что это неправда. Они хотели, чтобы он назвал еще людей, своих сообщников. Поэтому они не могли и не хотели сразу убить его. И его ежедневно по два раза допрашивали гауптвахтмайстер Брюкнер или его заместитель вахтмайстер Балдер, надевавшийся раскрыть через него организацию большевиков в Краснодаре и выслужиться перед главным фельдкомендантом области генерал-майором Клером.

Они допрашивали Костиевича и били его, когда он выводил их из

¹ Продолжение; см. „Знамя“ № 2, 3, 4, 5—6, 1945 г.

себя. Но чаще его бил и пытал по их поручению ротенфюрер команды СС, Фенбонг, полный лысоватый унтер с золотыми зубами и бабьим голосом, в очках со светлой роговой оправой. От унтера исходил такой дурной запах, что даже вахтмайстер Балдер и гауптвахтмайстер Брюкнер поводили носами и бросали ему сквозь зубы презрительные реплики, когда унтер оказывался слишком близко от них. Унтер Фенбонг бил и пытал связанного Костиевича, которого к тому же держали солдаты, методично, со знанием дела и совершенно равнодушно. Это была его профессия, его работа. А в те часы, когда Костиевич был не на допросе, а у себя в камере, унтер Фенбонг уже не трогал его, потому что боялся Костиевича, когда тот не был связан и солдаты не держали его, и потому, что это были у Фенбонга не рабочие часы, часы отдыха, которые он проводил в специально отведенной для него и его солдат дворницкой во дворе тюрьмы.

Но как ни терзали Костиевича и как ни долго это тянулось, Матвей Костиевич ничего не изменил в своем поведении. Он был так же независим, строптив и буен, и все очень утомлялись с ним, и вообще он причинял только одни неприятности.

В то время, когда так непоправимо безнадежно и мучительно однообразно протекала внешняя жизнь Костиевича, с тем большей силой напряжения и глубиной разворачивалась его жизнь духовная. Как все большие и чистые люди перед лицом смерти, он видел теперь и себя и всю свою жизнь с предельной прозрачной ясностью, с необыкновенной силой правды.

Усилием воли он отводил от себя мысли о жене и детях, чтобы не размягчить себя. Но с тем большей теплотой и любовью он думал о находившихся здесь, в городе, неподалеку от него, друзьях его молодости — Лизе Рыбаловой, Кондратовиче, и горевал, что даже смерть его останется им неизвестной, смерть, которая оправдала бы его в их глазах.

Да, он знал уже, что привело его в эту темную камеру и мучился сознанием того, что он ничего уже не сможет поправить, даже объяснить людям, в чем он виноват, чтобы облегчить свою душу и чтобы люди не повторяли его ошибки.

Однажды днем, когда Костиевич отдыхал после утреннего допроса, у камеры его послышались развязные голоса, дверь распахнулась с каким-то жалобным звоном, и в камеру вошел человек с повязкой «полицая» и со свисавшей на ремне тяжелой кобурой с желтым шнуром. В дверях стоял дежурный по коридору усатый немецкий солдат из жандармерии.

Костиевич, привыкший к темноте, мгновенно рассмотрел полицейского, вошедшего к нему. Совсем еще юный, почти мальчик, черненький и одетый во все черное, в задранной на затылок кепке, он, не в силах разглядеть Костиевича, смущаясь и стараясь держаться развязно, растерянно поводит вокруг зверушечьими глазами и весь выклялся, как на шарнирах.

Вот ты и в клетке зверя! Сейчас мы закроем дверь и посмотрим, как ты будешь себя чувствовать. Хопля! — по-немецки сказал усатый солдат из жандармерии, громко захохотал, и захлопнул дверь за спиной юного полицая».

В то же мгновение полицейский быстро нагнулся к приподнявшемуся на темном полу Костиевичу и, обжигая Костиевича пронзительным и испуганным взглядом черных своих глаз, прошептал:

— Ваши друзья не дремлют. Ждите ночью, на той неделе, я предупрежу...

Полицейский выпрямился и, приняв нахальное выражение, сказал неверным голосом:

— Не испугаешь, небось... Не на таковского... Немчура проклятая!

Немецкий солдат с хохотом отворил дверь и крикнул что-то веселое.

— Ха, достукался? — говорил юный «полицай», вихляясь перед Шульгой худым своим телом. — Счастье твое, что я человек честный и тебя не знаю... У, ты!.. — неожиданно воскликнул он и, замахнувшись тонкой рукой, легонько толкнул Костиевича в плечо и на мгновение стиснул пальцы на плече, и в этом хрупком пожатии Костиевичу почувствовалось что-то дружеское.

«Полицай» вышел из камеры, и дверь захлопнулась, и ключ завижал в замке.

Конечно, это могла быть провокация. Но зачем это нужно им, когда он в их руках и они всегда могут убить его? Это мог быть первый пробный шар на доверие с тем, чтобы в подходящих условиях Костиевич раскрыл бы себя перед этим «полицаем», как перед своим человеком. Но неужели они могут думать, что он так наивен?

И надежда ударила в сердце Костиевича и волнами погнала кровь по его истерзанному богатырскому телу.

Чувство благодарности к неизвестным друзьям с их заботой о нем, надежда на спасение семьи, вновь воспрянувшая; радость возможного избавления от мук, от непосильных дум — все это слилось в душе его в один могучий зов борьбы, жизни. И он, пожилой, грешный, большой человек, почувствовал, что в груди его закипают счастливые слезы, когда представил себе, что он не только сможет исправить то, что он сделал, а только теперь сможет повести тысячи и тысячи людей, находящихся под властью немцев, по тому единственно верному пути, который здесь, в тюрьме, открылся его душе.

Сквозь дощатые двери и стены ему день и ночь слышна была вся жизнь тюрьмы: как людей приводили и уводили, как мучили и как расстреливали за стеной, во дворе. Однажды ночью он был разбужен шумом, говором и топотом людей в камерах и коридорах, выкриками жандармов и полицейских на немецком и русском языках, бряцанием оружия, плачем детей и женщин. Было такое впечатление, что людей выводили из тюрьмы. Доносился рев моторов нескольких грузовых машин, одна за другой съезжавших со двора.

И действительно, когда Костиевича вели по коридору на дневной допрос, он почувствовал, что тюрьма пуста.

Ночью его впервые не потревожили. Он слышал, как к тюрьме подошла грузовая машина и жандармы и полицейские с приглушенными ругательствами, торопливо, точно они стыдились друг перед другом, разносили по камерам арестованных, молча и тяжело волочивших ноги по коридору. Арестованных подвозили всю ночь.

Было еще далеко до утра, когда Костиевича подняли на допрос

и повели, не связав рук. Он понял, что его не будут пытаться. И действительно его привели не в ту камеру, специально оборудованную для пыток, находившуюся в той же половине, что и камеры для заключенных, а в кабинет мастера Брюкнера, где Костиевич увидел самого Брюкнера в подтяжках,— офицерский мундир его висел на кресле: в кабинете было невыносимо душно,— вахтмайстера Балдера в полной форме, переводчика Шурку Рейбанда и трех немецких солдат в мышинных мундирчиках. Унтера Фенбонга не было.

За дверью послышался грузный топот, и в кабинет, нагнув голову, чтобы не задеть притолоки, вошел начальник полиции Соликовский в старинной казачьей фуражке, а за ним немецкие солдаты ввели старика Лютикова, босого, в разорванной рубахе, без пиджака, с неестественно белыми, искривленными обувью ступнями. Лютиков, видно, давно уже не ходил босой, поранился, ему больно было ступать даже по полу. Лютиков узнал Костиевича, на глаза его набегали слезы, он склонил голову.

— Узнаешь его?— спросил мастер Брюкнер.

Шурка Рейбанд перевел вопрос Костиевичу.

— Конечно,— стараясь быть спокойным, сказал Шульга.

С немецкой тщательностью и методичностью мастер Брюкнер и вахтмайстер Балдер, допрашивая перекрестно Шульгу и Лютикова, выяснили то, что было известно давно по документам Костиевича и никогда не скрывалось им: что он, Евдоким Остапчук, работал последнее время в механическом цехе, где Лютиков был заведующим, и что заведующий цехом Лютиков принял на работу в цех Евдокима Остапука.

Шульга понял, что Лютиков взят без каких-либо улик о его подпольной деятельности и что он ничего больше того, что известно, не сказал и не скажет ни о себе, ни о Шульге. И сердце Шульги облилось теплом сыновней любви к старику Лютикову.

Мастер Брюкнер кричал на молча стоявшего перед ним с опущенной головой босого Лютикова:

— О, ты льгун, льгун, старый крис!

И топал начищенным штиблетом так, что низко опущенный живот мастера Брюкнера подпрыгивал в брюках.

Потом Соликовский громадными своими кулаками стал избивать Лютикова и свалил его на пол. Шульга хотел уже кинуться на Соликовского, но внутренний голос подсказал ему, что наступило такое время, когда лучше остаться с развязанными руками, и он удержался и, раздувая ноздри, молча смотрел, как избивают старого Лютикова.

Потом их обоих, порознь, увели. Костиевич слышал, как подошла еще машина с арестованными. Не прошло и четверти часа, как его снова привели в кабинет мастера Брюкнера. Костиевич увидел своего мучителя, унтера Фенбонга, с солдатами СС, державшими полураздетого, рослого, пожилого человека, с мясистым сильным лицом, со связанными за спиной руками. Матвей Костиевич признал в нем своего земляка, участника партизанской борьбы в 1918 году — Петрова, с которым он не виделся лет пятнадцать. Мясистое лицо Петрова было в синяках и кровоподтеках; с той поры, как Костиевич видел его, он

мало постарел, только раздался в плечах и в поясе. Держался он угрюмо, но с достоинством.

Оба они, и Петров и Костиевич, сделали вид, что впервые видят друг друга. И уже придерживались этого во все время допроса.

Костиевича и на этот раз не били, но он был так потрясен тем, что происходило на его глазах, что к концу этого, второго за ночь, допроса, могучий организм его сдал. Он не помнил, как его отвели в камеру, впал в тяжелое забытие, из которого его снова вывел визг ключа в двери. Он слышал возно в дверях, но не мог проснуться. Потом ему почудилось, что дверь отворилась и кого-то втолкнули в камеру к нему. Костиевич сделал усилие и открыл глаза. Над ним, наклонившись, стоял человек с черными сросшимися бровями и с черной цыганской бородой и пытался рассмотреть Костиевича.

Человек этот попал со света в темную камеру и то ли без привычки не мог разглядеть лица Костиевича, то ли Костиевич был уже не похож на самого себя. Но Костиевич сразу узнал его,— это был земляк, тоже участник той войны, директор шахты № 1-бис, Валько.

— Андрей!... — тихо сказал Костиевич.

— Матвий?.. Судьба! Судьба!

Валько резким порывистым движением обнял приподнявшегося Костиевича за плечи.

— Все делал, шоб вызволить тебя, а судьба сулила самому попасть до тебе... Дай же, дай подивиться на тебя,— через некоторое время заговорил Валько резким хриплым голосом.— Что ж они сделали с тобой!— Валько отпустил Костиевича и заходил по камере.

В нем точно проснулась его природная тяжелая цыганская горячность, а камера была так мала, что он действительно походил на тигра в клетке.

— Видать, и тебе досталось,— спокойно сказал Костиевич и сел, обхватив колени.

Одежда Валько была вся в льи, рукав пиджака полуоторван, одна штанина лопнула на коленке, другая распоролась по шву; поперек лба — ссадина. Все же Валько был в сапогах.

— Дрался, видать?.. То — по-моему,— с удовольствием сказал Костиевич, представив себе, как все это было.— Ладно, не порть себе нервы. Сидай, расскажи, як воно там...

Валько сел на пол против Костиевича, поджав под себя ноги, потрогал рукой склизкий пол, поморщился.

— Дуже ответственный, ще не привык,— сказал он о себе и усмехнулся. И вдруг все лицо этого грубого человека задергалось такою мукой, что у Костиевича озноб пошел по спине.— Полный провал, Костиевич, полный!... — сказал Валько и уткнул свое черное лицо в ладони.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

С того момента как Валько понял, что Шульга арестован, он принимал все меры, чтобы установить связь с заключенными краснодонской тюрьмы и помочь Шульге.

Но даже Сережке Тюленину, при всей его ловкости и сноровке, не удавалось установить эту связь.

Связь с тюрьмой установил Иван Туркенич.

Туркенич происходил из почтенной краснодонской семьи. Глава ее, Василий Игнатьевич, старый шахтер, уже вышедший на инвалидность, и жена его, Феона Ивановна, родом из обрусевших украинцев, Воронежской губернии, всей семьей перекочевали в Донбасс в неурожайный двадцать первый год. Ваня тогда еще был грудным. Феона Ивановна всю дорогу несла его на руках, а старшая сестренка шла пешком, держа за материнский подол.

Они так бедствовали в пути, что приютившие их на ночь в Миллерово бездетные пожилые кооператор с женой стали упрашивать Феону Ивановну отдать младенца на воспитание. И родители было заколебались, а потом взбунтовались, поссорились, прослезились и не отдали сыночка, кровиночку.

Так они добрались до рудника Сорочкина и здесь осели. Когда уже Ваня вырос, кончал школу и выступал в драматическом кружке, Василий Игнатьевич и Феона Ивановна любили рассказывать гостям, как кооператор в Миллерово хотел взять их сына и как они не отдали его.

В дни прорыва немцами Южного фронта лейтенант Туркенич, командир батареи противотанковых орудий, имея приказ стоять насмерть, отбивал атаки немецких танков в районе Калача на Дону до тех пор, пока все орудийные расчеты не выбыли из строя и сам он не свалился раненый. С остатками разрозненных рот и батарей он был взят в плен и, как раненый, не могущий передвигаться, был пристрелен немецким лейтенантом. Но недострелен. Вдова-казачка в две недели выходила Туркенича. И он появился дома, перебинтованный крест-накрест под сорочкой.

Иван Туркенич установил связь с тюрьмой с помощью старинных своих приятелей по школе имени Горького — Анатолия Ковалева и Васи Пирожка.

Трудно было бы найти друзей более разных — и по физическому облику и по характеру.

Ковалев был парень чудовищной силы, приземистый, как степной дуб, медлительный и добрый до наивности. С отроческих лет он решил стать знаменитым гиревиком, хотя девушка, за которой он ухаживал, и издевалась над этим: она говорила, что в спортивном мире на высшей ступени лестницы стоят шахматисты, а гиревики на самой низшей, — ниже гиревиков идут уже просто амебы. Он вел размеренный образ жизни, не пил, не курил, ходил и зимой без пальто и головного убора, по утрам купался в проруби и ежедневно упражнялся в подымании тяжестей.

А Вася Пирожок был худощавый, подвижной, вспыльчивый, с огненными черными зверушечьими глазами, любимец и любитель девушек, драчун, и если что и интересовало его в спорте, так только бокс. Вообще он был склонен к авантюрам.

Туркенич подослал к Пирожку младшую замужнюю сестру за пластинками для патефона, и она завлекла Васю вместе с пластинками, а Вася по дружбе притащил с собой Ковалева.

К великому негодованию всех жителей Краснодона, особенно молодых людей, лично знавших Ковалева и Пирожка, их обоих вскоре увидели со свастикой на рукаве, среди «полицаев», упражнявшихся

в новой своей специальности на пустыре возле парка под руководством немца-сержанта с голубоватыми погонами.

Они специализировались по охране городского порядка. На их долю выпадали дежурства в городской управе, дирекционе, районной сельскохозяйственной комендатуре, на бирже труда, на рынке, ночные обходы по участкам. Повязка «полицая» служила им видом благонадежности в общении с немецкими солдатами из жандармерии. И Васе Пирожку удалось не только узнать, где сидит Шульга, но даже проникнуть к нему в камеру и дать понять, что друзья заботятся о том, чтобы освободить его.

Освободить! Хитрость и подкуп были здесь бессильны. Освободить Матвея Костиевича и других можно было только напав на тюрьму. И все эти дни августа Валько, а по его поручению Олег, а вместе с Олегом Ваня Земнухов, Туркенич, Сережка Тюленин и привлеченный к этому делу, как один из наиболее видных красдонских комсомольцев, уже нюхнувший пороху, Евгений Стахович— готовили среди молодежи кадры и добывали оружие для нападения на тюрьму.

Как ни увлечена была Уля своей новой ролью и как ни понимала все значение скорейшей встречи с Олегом, она еще настолько не привыкла обманывать отца и мать и так погружена была в дела по дому, что выбралась к Олегу только через несколько дней после разговора с Виктором и Анатолием и не застала Олега дома.

Генерал барон фон Венцель и штаб его уже несколько дней как выехали на восток. Дядя Коля, открывший Уле дверь, сразу узнал ее, но, как ей показалось, не проявил не только радости, но даже приветливости после того, как они столько испытали вместе и так много дней не виделись.

Бабушки Веры и Елены Николаевны не было дома. На стульях друг против друга сидели Марина и Оля Иванцова и мотали шерсть.

Увидев Улю, Марина выронила моток и с криком кинулась ей на шею.

— Улечка! Де ж ты пропала? Будь они прокляты, ты немцы!— радостно говорила она с выступившими на глаза слезами.— Ось, дивись, распустила жакет сыночку на костюмчик. Думаю, жакет все одно немцы отберут, а у малого може ще не тронут!..

И она такой же скороговоркой стала перебирать в памяти их совместный путь, гибель детей на переправе и как разорвало заведующую детским домом и как немцы отобрали у них шелковые вещи.

Оля, держа перед собой шерсть на растопыренных, смуглых до черноты, сильных руках, с таинственным, и как показалось Уле тревожным выражением, молча смотрела перед собой немигающими глазами.

Уля не сочла возможным объяснить, зачем она пришла, сказала только об аресте отца Виктора. Оля, не меняя положения рук, быстро взглянула на дядю Колю, а дядя Коля на нее. И Уля вдруг поняла, что дядя Коля был не неприветлив, а встревожен чем-то, чего Уля не могла знать. И смутное чувство тревоги охватило и Улю.

Оля все с тем же таинственным выражением, усмехнувшись как-то вбок, сказала, что она договорилась встретиться с сестрой Ниной у

парка и они сейчас придут сюда вместе. Она сказала это, ни к кому не обращаясь, и тотчас же вышла.

Марина все говорила, не подозревая того, что происходит вокруг нее.

Через некоторое время Оля вернулась с Ниной.

— Как раз о тебе вспоминали в одной компании. Хочешь, зайдем, сейчас же познакомлю? — сказала Нина без улыбки.

Она молча повела Улю через улицы и дворы, куда-то в самый центр города. Она шла, не глядя на Улю, выражение ее широко открытых карих глаз было рассеянное и свирепое.

— Нина! Что случилось? — тихо спросила Уля.

— Наверно тебе скажут сейчас. А я ничего не могу сказать...

— Ты знаешь, у Вити Петрова отца арестовали, — снова сказала Уля.

— Да? Этого надо было ждать... — Нина махнула рукой.

Они вошли в стандартный дом того же типа, что и все дома вокруг. — Уля никогда не бывала здесь.

Крупный старик полулежал на широкой деревянной кровати, одетый, голова его покоилась среди взбитых подушек, видна была только линия большого лба и мясистого носа и светлые густые ресницы. Пожилая худая женщина широкой кости, желтая от загара, сидела возле кровати на стуле и шила. Две молодых красивых женщины с крупными босыми ногами без дела сидели на лавке у окна, — они с любопытством взглянули на Улю.

Уля поздоровалась. Нина быстро провела ее в другую горницу.

В большой комнате за столом, уставленным закусками, кружками, бутылками с водкой, сидело несколько молодых людей и одна девушка. Уля узнала Олега, Ваню Земнухова и Евгения Стаховича, который как-то, в первые дни войны, выступал у первомайцев с докладом. Двое ребят были неизвестны ей. А девушка была Люба, «Любка-артистка», которую Уля видела у калитки ее дома в тот памятный день. Обстоятельства их встречи так ярко встали перед Улей, что она поразилась, увидев Любу здесь. Но в то же мгновение она все поняла, и поведение Любы в тот день вдруг предстало перед ней в истинном свете.

Нина ввела Улю и тотчас же вышла.

Олег встал Уле навстречу, немного смутился, поискал глазами, куда бы посадить ее, и широко улыбнулся ей. И так вдруг согрела ее эта улыбка перед тем непонятным и тревожным, что предстояло ей узнать...

В ту ночь, когда был взят отец Виктора, в городе и в районе были арестованы почти все, не успевшие эвакуироваться члены партии, советские работники, люди, ведшие ту или иную общественную деятельность, многие учителя и инженеры и знатные шахтеры.

Первым узнал об этом Володя Осьмухин: он пришел в цех на работу и узнал, что ночью арестовали старика Лютикова. Но самое страшное и непоправимое выяснилось уже спустя несколько дней. К Олегу прибежала Любка, вся бледная, и со слов Ивана Кондратовича передала, что бесследно исчез дядя Андрей.

Та, никому, кроме Кондратовича, не известная, квартира, где скрывался Валько, той же ночью, когда взяли Лютикова, подверглась обыску. Как потом выяснилось, искали не Валько, а мужа хозяйки, кото-

рый был в эвакуации. А дядя Андрей был своевременно выпущен из домика другим ходом, через сарай,— дело происходило на одном из малых «шанхайчиков», и благополучно перекочевал к вдове, где когда-то назначил ему первую встречу Кондратович.

На заре парнишка из квартиры, подвергшейся обыску, прибежал к вдове проведать дядю Андрея, и от парнишки дядя Андрей узнал, что аресты идут по всему городу. Дядя Андрей послал парнишку за Кондратовичем, предупредив, что если Кондратович не застанет его, пусть подождет с полчаса. После того дядя Андрей вышел из дому, сказав вдове, что вот-вот вернется, и исчез бесследно.

Кондратович прождал его у вдовы около часа и пошел искать по всем местам, где, он знал, еще мог быть дядя Андрей. Но ни в одном из этих мест его не было. И только спустя несколько дней Кондратович встретил на улице старика-шахтера с шахты № 1-бис, который в страшном возбуждении рассказал ему, что в ту памятную ночь, рано утром, на их улице немецкие жандармы и «полицан» схватили прохожего человека, а когда он, этот прохожий человек, стал отбиваться, старик увидел, что он, как две капли воды,— старик даже перекрестился,— похож на директора шахты Валько, который, как известно, эвакуировался

Но то, что узнала младшая сестра Туркенича, сбежавшая на квартиры Пирожка и Ковалева, было уже вовсе непонятно и тревожно. По словам их родителей, оба они как раз перед тем, как начались все эти аресты, ушли из дому довольно рано вечером. А вечером, попозже, на квартиры к ним забегал служивший вместе с ними полицейский Мельников, который расспрашивал, где они могут быть, и очень был груб от того, что их не застал. Потом он забегал еще раз, ночью, и все говорил: «Вот уже будет им!..» Ковалев и Вася вернулись по домам перед утром, совершенно пьяные, что было тем более поразительно, что Ковалев никогда не пил. Они сказали родным, что гуляли у шинкарки и, не обращая внимания на переданные им угрозы Мельникова, завалились спать. А утром пришли полицейские и арестовали их.

Олег, Туркенич и Любка, взволнованные всем, что случилось, вызвали на совещание Сережку Тюленина, Ваню Земнухова и Стаховича. Совещание происходило на квартире Туркенича.

В тот момент, когда вошла Уля, они обсуждали вопрос о том, должны ли они теперь попытаться сами осуществить замысел дяди Андрея — напасть на тюрьму и освободить арестованных — или они должны подождать указаний и помощи из Ворошиловграда: Любка вызвалась съездить в Ворошиловград, где, она сказала, у нее есть знакомые подпольщики.

— Не понимаю, где же тут логика?— говорил Стахович.— Мы готовились освободить Остапчука, торопились, мобилизовали ребят, а когда арестовали дядю Андрея и других, то есть назрела еще большая срочность и необходимость, нам предлагают прекратить дело...

Стахович очень изменился с той поры, как Уля видела его,— возмужал, его бледное тонкое лицо самолюбивого, даже надменного выражения, стало как-то значительнее. Он говорил, легко обращаясь с такими книжными словами, как «логика», «объективно», «проанализируем», говорил спокойно, без жестов, прямо держа голову с свободно

закинутыми назад светлыми волосами, выложив на стол длинные худые руки.

— Не прекратить, а лучше подготовиться,— смущенно сказал Ваня глуховатым баском.

— А людей тем временем убьют,— спокойно сказал Стахович.

— Зачем ты на чувства бьешь? Нам всем одинаково больно за людей,— застенчиво глядя сквозь очки, но, видно, убежденный в своей правоте, говорил Ваня.— Мы готовили ребят по заданию подпольной организации, в помощь ей. У нас была зацепка в полиции — Вася и его друг. Теперь этого ничего нет, все нужно начинать сначала, и ребят нам нужно вдвое, втрое больше. Не мальчики же мы в самом деле! — вдруг сказал он сердито.

— У первомайцев найдутся смелые, преданные ребята? — спросил Стахович Улю, прямо взглянув ей в глаза с покровительственным выражением.

— Да, конечно,— сказала Уля.

Стахович безмолвно посмотрел на Ваню.

Олег сидел молча, вобрав голову в плечи, и то внимательно, серьезно переводил свои большие глаза со Стаховича на Ваню, то, задумавшись, глядел прямо перед собой, и глаза его точно пеленой подергивались.

Туркенич и Сережка молчали. Уля чувствовала, что Стахович точно подавлял всех своей значительностью, самоуверенностью и этими книжными словами, с которыми он так легко обращался.

Любка подседа к Уле.

— Узнала меня? — шопотом спросила Любка.— Помнишь отца моего?

— Это при мне было...— Уля шопотом передала подробности гибели Григория Ильича.

— Ах, что только приходится переживать! — сказала Любка.— Ты знаешь, у меня к этим немцам такая ненависть, я бы их резала своими руками! — сказала она с наивным и жестоким выражением в глазах.

— Да... да... — тихо сказала Уля.— Иногда я чувствую в душе такое мстительное чувство, что даже боюсь за себя. Боюсь, что сделаю что-нибудь опрометчивое...

— Тебе Стахович нравится? — на ухо спросила ее Любка.

Уля пожала плечами.

— Знаешь, уж очень себя показывает. Но он прав. Ребят, конечно, можно найти,— сказала Любка, вспомнив Сергея Левашова.

— Я думаю, дело не только в ребятах, а кто будет нами руководить,— шопотом отвечала Уля.

И — точно она сговорилась с ним — Олег в это время сказал:

— За ребятами дело не станет, смелые ребята всегда найдутся, а все дело в организации... — Он сказал это звучным юношеским голосом, заикаясь больше чем обычно, и все посмотрели на него.— Ведь мы же не организация... Вот соб-брались и разговариваем! — сказал он с наивным выражением в глазах.— Нет, поезжай-ка, Люба, дружок, мы будем ждать. Не просто ждать, а выберем командира, подучимся! И свяжемся с самими арестованными.

— Уж пробовали... — насмешливо сказал Стахович.

— Я в-возьму это на себя,— быстро взглянув на него, сказал Олег — Родня арестованных понесет передачи, можно записку передать — в белье, в хлебе, в посуде...

— Немцев не знаешь!

— К немцам не надо применяться, надо заставить их применяться к нам...

— Несерьезно все это,— не повышая голоса, сказал Стахович, и самолюбивая складка его тонких губ явственно обозначилась.— Нет, мы в партизанском отряде не так действовали. Прошу прощения, а я буду действовать по-своему!

Олег густо покраснел.

— Как твое мнение, Сережа? — спросил он, избегая смотреть на Стаховича.

— Надо бы напасть,— сказал Сережка смутившись.

— То-то и есть... Силы найдутся, не беспокойся! — говорил Стахович.

— Я и говорю, что у нас нет ни организации, ни дисциплины,— сказал Олег, весь красный.

В это время Нина открыла дверь, и в комнату вошел Вася Пирожок. Все лицо его было в ссохшихся ссадинах и кровоподтеках, и одна рука на перевязи.

Вид его был так тяжел и странен, что все привстали в невольном движении к нему.

— Где тебя так? — после некоторого молчания спросил Туркенич.

— В полиции...— Пирожок стоял у двери со своими черными зверушечьими глазами, полными детской горечи и смущения.

— А Ковалев где? Наших там не видел? — спрашивали все у Пирожка.

— И никого мы не видели: нас в кабинете начальника полиции били,— сказал Пирожок.

— Ты из себя деточку не строй, а расскажи толково,— сердито сказал Земнухов.— Где Ковалев?

— Дома... Отлеживается. А чего рассказывать? — сказал Пирожок с внезапным раздражением.— Днем, в акурат перед этими арестами, нас вызвал Соликовский, сказал, чтобы к вечеру были у него с оружием — пошлет нас с арестом, а к кому — не сказал. Это в первый раз он нас наметил а что не нас одних и что аресты будут большие, мы, понятно, не знали. Мы пошли домой, да и думаем: «Как же это мы пойдем какого-нибудь своего человека брать? Век себе не простим!» Я и сказал Тольке: «Пойдем к Синюхе, шинкарке, напьемся и не придем,— потом так и скажем: «запили». Ну, мы подумали, подумали,— что в самом деле с нами сделают? Мы не на подозрении. В крайнем случае, морду набьют да выгонят. Так оно и получилось: три дня продержали, допросили, морду набили и выгнали,— сказал Пирожок в крайнем смущении.

При всей серьезности положения вид Пирожка был так жалок и смешон, и все вместе было так по-мальчишески глупо, что на лицах ребят появились смущенные улыбки.

— А некоторые т-товарищи думают, что они способны ат-таковать немецкую жандармерию! — сильно заикаясь, сказал Олег, и в глазах его появилось беспощадное, злое выражение.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Валько пал жертвой собственной горячности, скрытой от людей под внешней выдержанностью и нелюбовью к словам.

Узнав о идущих по городу арестах, он так заволновался о Кондратовиче и о Лютикове, что, поддавшись первому побуждению, сам побегал предупредить Лютикова: он предполагал, что у Лютикова хранятся шрифты, выкопанные в парке после ухода немцев Володей Осьмухиным, Толей Орловым и Жорой Аругтянцем. И у самого дома Лютикова Валько был схвачен полицейским постом, опознавшим его.

В то время когда на квартире Туркенича шло совещание ребят, Андрей Валько и Матвей Шульга стояли перед мастером Брюкнером и его заместителем Балдером в том самом кабинете, где несколько дней назад делали очные ставки Шульге.

Оба немолодые, невысокие, широкие в плечах, они стояли рядом, как два брата-дубка среди поляны. Валько был чуть посуше, черный, угрюмый, белки его глаз недобро сверкали из-под сросшихся бровей, а в крупном лице Костиевича, испещренном крапинами, несмотря на резкие мужественные очертания, было что-то светлое, покойное.

Арестованных было так много, что в течение всех этих дней их допрашивали одновременно и в кабинете мастера Брюкнера и вахтмайстера Балдера и начальника полиции Соликовского. Но Валько и Костиевича еще не потревожили ни разу. Их даже кормили лучше, чем кормили до этого одного Шульгу. И все эти дни Валько и Матвей Костиевич слышали за стенами своей камеры стоны и ругательства, топот ног, возню и бряцанье оружия, и звон тазов и ведер, и плескание воды, когда подмывали кровь на полу. Иногда из какой-то дальней камеры едва доносился детский плач.

Их повели на допрос, не связав им рук, и отсюда они оба заключили, что их попробуют подкупить и обмануть добром и хитростью. Но чтобы они не нарушили порядка, Ordnung'a, в кабинете мастера Брюкнера находилось, кроме переводчика, еще четыре вооруженных солдата, а унтер Фенбонг, приведший арестованных, стоял за их спиной с револьвером в руке.

Допрос начался с установления личности Валько, и Валько назвал себя. Он был человек, известный в городе, его знал даже Шурка Рейбанд и, когда тот переводил ему вопросы мастера Брюкнера, Валько видел в черных глазах Шурки Рейбанда выражение испуга и острого, почти личного любопытства.

Потом мастер Брюкнер спросил Валько, давно ли он знает человека, стоящего рядом, и кто этот человек. Валько чуть усмехнулся.

— Познакомились в камере,— сказал он.

— Кто он?

— Скажи своему хозяину, чтоб он ваньку не валял,— хмуро сказал Валько Рейбанду — Он же понимает, что я знаю только то, что мне этот гражданин сам сказал.

Мастер Брюкнер помолчал, округлив глаза, как филин, и по этому выражению его глаз стало ясно, что он не знает, о чем еще спросить, и не умеет спрашивать, если человек не связан и человека

не бьют, и что от этого мастеру Брюкнеру очень тяжело и скучно. Потом он сказал:

— Если он хочет рассчитывать на обращение, соответствующее его положению, пусть назовет людей, которые оставлены вместе с ним для подрывной работы.

Рейбанд перевел.

— Этих людей не знаю. И не мыслю, чтобы их успели оставить. Я вернулся из-под Донца, не успел эвакуироваться. Каждый человек может это подтвердить,— сказал Валько, прямо глядя сначала на Рейбанду, потом на мастера Брюкнера цыганскими черными свирепыми глазами.

В нижней части лица мастера Брюкнера, там, где оно переходило в шею, собрались толстые надменные складки. Так он постоял некоторое время, потом взял из портсигара на столе сигару без этикетки и, держа ее посредине двумя пальцами, протянул к Валько с вопросом:

— Вы инженер?

Валько был старый хозяйственник, выдвинутый из рабочих-шахтеров еще по окончании гражданской войны, и уже в тридцатых годах окончивший промышленную академию. Но бессмысленно было бы рассказывать все этому немцу, и Валько, сделав вид, что не замечает протянутой ему сигары, ответил на вопрос мастера Брюкнера утвердительно.

— Человек вашего образования и опыта мог бы занять более высокое и материально обеспеченное положение при новом порядке, если бы он этого захотел,— сказал мастер Брюкнер и грустно свесил голову набок, попрежнему держа перед Валько эту сигару.

Валько молчал.

— Возьмите, возьмите сигару...— с испугом в глазах сказал Шурка Рейбанд свистящим шопотом.

Валько, как бы не слыша его, продолжал молча смотреть на мастера Брюкнера с веселым и свирепым выражением в черных цыганских глазах.

Большая желтая морщинистая рука мастера Брюкнера, державшая сигару, начала дрожать.

— Весь Донецкий угольный район со всеми шахтами и заводами перешел в ведение Восточного общества по эксплуатации угольных и металлургических предприятий,— сказал мастер Брюкнер и вздохнул так, точно ему трудно было произнести это. Потом он еще ниже свесил голову набок и, решительным жестом протянув Валько сигару, сказал:— По поручению общества я предлагаю вам место главного инженера при местном дерекционе.

При этих его словах Шурка Рейбанд так и обмер, втянул голову в плечи и перевел слова мастера Брюкнера так, будто у него в горле першило.

Валько некоторое время молча смотрел на мастера Брюкнера. Черные глаза Валько сузились. И широко и резко замахнувшись смуглой сильной рукою, он ударил мастера Брюкнера между глаз.

Мастер Брюкнер обиженно хрюкнул, сигара выпала из его руки, и он прямо, массивно опрокинулся на пол.

Прошло несколько мгновений всеобщего оцепенения, в течение ко-

торых мастер Брюкнер недвижимо лежал на полу с выпукло обозначившимся над всей его массивной фигурой круглым тугим животом. Потом все невообразимо перемешалось в кабинете мастера Брюкнера.

Вахтмайстер Балдер, невысокий, очень тучный, спокойный, во все время допроса молча стоял у стола, медленно и сонно поводил набрякшими влагой многопытными голубыми глазами, мерно сопел, и при каждом вдохе и выдохе его тучное покойное тело, облаченное в серый мундир, то всходило, то опадало, как опара. Когда прошло оцепенение, вахтмайстер Балдер вдруг весь налился кровью, затрясся на месте и закричал:

— Возьмите его!

Унтер Фенбонг, за ним солдаты кинулись на Валько. Но хотя унтер Фенбонг стоял ближе всех, ему так и не удалось схватить Валько, потому что в это мгновение Матвей Костиевич с ужасным хриплым непонятым возгласом: «Ах ты, Сибир нашего царя!» одним ударом отправил унтера Фенбонга вперед головой в дальний угол кабинета и, склонив широкое темя, как разъяренный вол, ринулся на солдат.

— Добре... ах, то дуже добре, Матвий!—с восторгом сказал Валько, порываясь из рук немецких солдат к тучному багровому вахтмайстеру Балдеру, который, выставив перед собой маленькие плотные сизые ладошки, кричал солдатам:

— Не стрелять!.. Держите, держите их, будь они прокляты!

Матвей Костиевич, с необычайной силой и яростью работая кулаками, ногами и головой, раскидал солдат, и освобожденный Валько все-таки ринулся на вахтмайстера Балдера, который с неожиданной в его тучном теле подвижностью и энергией побежал от него вокруг стола.

Унтер Фенбонг снова попытался притти на помощь к шефу, но Валько, с оскаленными зубами, словно огрызнувшись, ударил его сапогом между ног, и унтер Фенбонг упал.

— Ах, то дуже добре, Андрий!—с удовольствием сказал Матвей Костиевич, ворочаясь справа налево, как вол, и при каждом повороте отбрасывая от себя солдат.—Прыгай у викно, чуешь!

— А ты ж пробивайся до мене!

— Ух, Сибир нашего царя!—взревел Костиевич и, могучим рывком вырвавшись из рук солдат, очутился возле Валько и, схватив кресло мастера Брюкнера, занес его над головой.

Солдаты, кинувшиеся было за ним, отпрянули. Валько с оскаленными зубами и восторженно-свирепым выражением в черных глазах, срывал со стола все, что стояло на нем,—чернильный прибор, пресс-папье, металлический подстаканник—и во весь размах руки швырял все это в противника с такою разгульной яростью, с таким грохотом и звоном, что вахтмайстер Балдер упал на пол, прикрыв полными руками лысоватую голову, а Шурка Рейбанд, дотоле жавшийся у стенки, тихо взвизгнув, полез под диван.

Вначале, когда Валько и Костиевич кинулись в битву, ими владело то последнее чувство освобождения, какое возникает у смелых и сильных людей, знающих, что они обречены на смерть; и этот последний отчаянный всплеск жизни удесятерил их силы. Но в ходе битвы они вдруг

поняли, что враг не может, не имеет права, не получил распоряжения от начальства убить их; и это наполнило их души таким торжеством, чувством такой полной свободы и безнаказанности, что они были уже непобедимы.

Окровавленные, разгульные, страшные, они стояли плечом к плечу, упершись спинами в стену, и никто не решался к ним подступиться.

Потом майстер Брюкнер, пришедший в чувство, опять натравил на них солдат. Воспользовавшись свалкой, Шурка Рейбанд выскользнул из-под дивана за дверь. Через несколько минут в кабинет ворвалось еще несколько солдат, и все немцы, какие были в комнате, скопом обрушились на Валько и Костиевича. Они свалили рыцарей на пол и, дав выход ярости своей, стали мять, давить и бить их кулаками, ступнями, коленями и долго еще терзали их и после того, как свет померк в очах Валько и Костиевича.

Был тот темный тихий предрассветный час, когда молодой месяц уже сошел с неба, а утренняя чистая звезда, которую в народе зовут зорянкой, еще не взошла на небо, когда сама природа, как бы притомившись, уже крепко спит с закрытыми глазами и самый сладкий сон сковывает очи людей, и даже в тюрьмах спят уставшие палачи и жертвы.

В этот темный тихий предрассветный час первым очнулся от сна, глубококого, безмятежного, такого далекого от той страшной жизни-судьбы, что предстояла ему, Матвей Шульга,— очнулся, заворочился на темном полу и сел. И почти в то же мгновение с беззвучным стоном,— это был даже не стон, а вздох, такой он был тихий,— проснулся и Андрей Валько. Оба они присели на темном полу и приблизили друг к другу лица, распухшие, запекшиеся в крови.

Ни проблеска света не брезжило в темной и тесной камере, но им казалось, что они видят друг друга. Они видели друг друга сильными и прекрасными.

— Ох, ты и добрый сичевик, Андрий!— хрипло сказал Матвей Шульга. И вдруг, откинувшись всем корпусом на руки, захохотал так, точно они оба были на воле.

И Валько завторил ему хриплым и добрым смехом:

— И ты дюжий козак, Матвий, дай тебе господи силы!

— Ха-ха-ха! Воны думали, то у нас таки ж революционеры, як у них,— таки ж смирененьки та добреньки!— издевался Шульга.— Таки революционеры, шо як дошло дило до восстания и треба узяты вокзал с оружием в руках, так воны бегут до кассы за перрошными билетами!.. Так нехай же знают, якие у нас революционеры-коммунисти! Нехай почухаються! Ха-ха-ха!..

— Ха-ха-ха!..— вторил ему Валько.

И в ночной тишине и темноте их страшный богатырский хохот сотрясал стены тюремного барака.

Утром им не принесли поесть и днем не повели на допрос. Ни никого не допрашивали в этот день. В тюрьме было тихо; какой-то мутный говор, как журчание ручья под листвою, доносился из-за стен камеры. В полдень к тюрьме подошла легковая машина с приглушенным мотором и через некоторое время отбыла. Костиевич, привыкший различать все звуки за стенами своей камеры, знал, что эта

машина подходит и уходит, когда майстер Брюкнер или его заместитель или они оба выезжают из тюрьмы.

— До начальства поехали,— тихо, серьезно сказал Шульга.

Валько и Костиевич переглянулись и не сказали ни слова, но взгляды их сказали друг другу, что оба они знают, что конец их близок, и они готовы к нему. И, должно быть, это знали все люди в тюрьме — такое тихое, торжественное молчание воцарилось вокруг.

Так присидели они молча несколько часов, наедине со своей совестью. Уже сумерки близились.

— Андрий,— тихо сказал Шульга,— я еще не говорил тебе, как я сюда попал. Послухай меня...

Все это он уже не раз обдумал наедине. Но теперь, когда он рассказывал все это вслух человеку, с которым его соединяли узы более чистые и неразрывные, чем какие-либо другие узы на свете, Матвей Шульга едва не застонал от мучительного сожаления, когда снова увидел перед собой прямодушное лицо Лизы Рыбаловой, с запечатленными на нем морщинами труда и этим резким и матерински добрым выражением, с каким она встретила и проводила его. И он ужаснулся тому, как это могло получиться, что в том положении, в каком он находился, он больше поверил неверным явкам, чем лучшему другу своей молодости Лизе Рыбаловой, чем простому и естественному голосу своей совести.

И, не щадя себя, он рассказал Валько и о том, что говорила ему Лиза Рыбалова, и что он, Шульга, отвечал ей в своей самонадеянности, и как ей не хотелось, чтобы он уходил, и она смотрела на него как мать, а он ушел.

По мере того, как он говорил, лицо Валько делалось все сумрачней.

— Бумага! — воскликнул Валько. — Поверил бумаге больше, чем человеку, — сказал он с мужественной печалью в голосе. — Да, так бывает у нас частенько... Мы ж сами ее пишем, а потом не бачим, як вона берет верх над нами...

— То ж не все, Андрий,— грустно сказал Шульга,— я маю ще расказати тебе о Кондратовиче...

И он рассказал Валько, как усомнился в Кондратовиче, которого знал с молодых лет, усомнился, узнав историю с сыном Кондратовича и то, что Кондратович скрыл ее, когда давал согласие предоставить свою квартиру подпольной организации.

Матвей Костиевич снова вспомнил все это и ужаснулся тому, как могло получиться, что простая жизненная история, каких немало бывает в жизни простых людей, могла очернить в его глазах Кондратовича, а в то же время ему мог понравиться Игнат Фомин, которого он совсем не знал и в котором было столько неприятного.

И Валько, который знал все это из уст Кондратовича, а потом Сережки Тюленина, стал еще мрачнее.

— Форма!.. — хрипло сказал Валько. — Привычка до формы... Мы так привыкли, что народ живет лучше, чем жили наши батьки при старом времени и так хотим еще лучшей доли для народа, что каждого человека любим видеть по форме — чистеньким да гладеньким. Кондратович, божья душа, из формы выпал и показался тебе черненьким.

А тот Фомин, будь он проклят, в акурат пришелся по форме, чистенький да гладенький, а он-то и был чернее ночи... Мы когда-то проглядели его черноту, сами набелили его, выдвинули, прославили, подогнали под форму, а потом она же застила нам глаза. А теперь за то ты расплачиваешься жизнью.

— То правда, то святая правда, Андрий,— сказал Матвей Костиевич и, как ни тяжело было то, о чем они говорили, глаза его вдруг брызнули ясным светом.— Сколько дней и ночей я тут сижу, а не было часа, чтобы я не думал об этом... Андрий! Андрий! Мы ж с тобой низовые люди, не нам с тобой считаться, який великий труд на благо народа пал в жизни на наши плечи! А не мало было в нашей жизни и суеты, бумаги, формы, внешнего, казового, согласовательского да представительского,— с издевкой сказал Шульга.— А самое дорогое на свете, ради чего стоит жить, трудиться, умирать,— то наши люди! Человек! Да есть ли на свете что-нибудь красивше нашего человека? Сколько труда, невзгоды принял он на свои плечи за наше государство, за народное дело! В гражданскую войну осьмушку хлеба ел, не ропгал, в реконструкцию стоял в очередях, драную одежду носил, а не променял своего советского первородства на галантерею. А в эту отечественную войну со счастьем, с гордостью в сердце понес свою голову на смерть, принял любую невзгду и труд,— даже ребенок принял это на себя, не говоря уже о женщине,— а это ж все наши люди, такие, як мы с тобой. Мы вышли из них, все лучшие, самые умные, талантливые, знатные наши люди— все вышли из них, из простых людей! А спроси ты сейчас секретаря любого райкома или председателя районного исполкома, который проработал в районе пять— семь лет, кого из людей он знает в своем районе? Ну, партийный актив он, понятно, знает, стахановцев знает, лучших колхозников, видную интеллигенцию знает, да хйба ж этого достаточно? Коли я сижу в районе пять— семь лет, я обязан знать в лицо всех людей в своем районе, кто как живет и чем дышит,— вот тогда, я понимаю, я работник у народа! Скажут: «Да хйба ж то возможно? А загрузка?..» Коли ты сидишь на своей шахте пять— семь лет, а то и десять, какое тебе оправдание, если ты не знаешь каждого своего рабочего в лицо, кто он, как живет и чего он хочет от жизни? Да разве любой советский человек, самый простой и немудрящий, не имеет права на то, чтобы ответственный низовой работник государства знал его в лицо, знал его жизнь, нужду? Он имеет на то право, он того заслужил трудами и жертвами своими!.. Мы, работники народа, должны в каждом человеке поднять веру в себя, чувство гордости за себя, поднять в глазах всего света величие и достоинство нашего человека...— с волнением говорил Шульга.

А Валько только сказал:

— То все правда, Матвий, святая правда...

— Ах, Андрий!— снова заговорил Шульга.— Як уходил я от Лизы Рыбаловой, видал я там трех парубков и дивчину, сына ее и дочь, та двух их товарищей, як я понимаю... Андрий!.. Якие были у них глаза! Як вони подивились на меня! Как-то ночью проснулся я здесь, у камере, меня аж в дрожь кинуло. Комсомольцы! То ж наверняка комсомольцы! Як же я прошел мимо них? Как то могло случиться? Почему? А я знаю почему. Я вот лет десять работал заместителем председателя районного

исполкома, и ко мне не раз комсомолыцы района: «Дядько Матвий, сделай доклад ребятам об уборке, о севе, о плане развития нашего района, об областном съезде советов, да мало ли о чем». А я, как все мы: «Да некогда мне, да ну вас, комсомолия,— сами управляйтесь!» А иной раз не отбрыкаешься, согласишься, а потом так трудно этот доклад сделать! Тут, понимаешь, сводка в облземотдел, там очередная комиссия по согласованию и размежеванию, а тут еще надо успеть к директору рудоуправления хоть на часок,— ему, видишь ли, пятьдесят лет стукнуло, а мальчишке его исполнился год, и он так этим гордится, что справляет вроде и именины и крестины,— не придешь, обидится... Вот ты промежду этих дел, не подготовившись, и бежишь к комсомольцам на доклад. Говоришь по памяти «в общем и целом», вытягиваешь из себя слова такие, шю у самого скулы воротит а у молодых людей и подавно... Ай, стыд! — вдруг сказал Матвей Костиевич, и его большое лицо побагровело, и он спрятал его в ладони.— Они ждут от тебя доброго слова, як им жить, а ты «в общем и целом»... Кто есть первый воспитатель молодежи нашей? Учитель. А как мы иногда отнюсимся к учителю в школе? Учитель! Слово-то какое!.. Мы с тобой кончали церковно-приходскую школу, ты ее кончил лет на пять раньше, чем я, а и ты, наверно, помнишь учителя Николая Петровича, он у нас на руднике учил ребят лет пятнадцать, пока от чохотки не помер. А я и сейчас помню, как он рассказывал нам, как устроен мир — солнце, земля и звезды, он, может, первый человек, который пошатнул в нас веру в бога и открыл глаза на мир... Учитель! Легко сказать! В нашей стране, где учится каждый ребенок, учитель — это первый человек. Будущее наших детей, нашего народа — в руках учителя, в его золотом сердце. Мы б должны, завидев его на улице, за пятьдесят метров шапку сымать из уважения к нему. А мы?.. А мы часто больше ценим завов и замзавов у себя в канцелярии исполкома, потому что привыкли изо дня в день к их физиономии и думаем, что они незаменимы. Стыдно вспомнить, как каждый год, когда встает у нас вопрос о ремонте школ, об отоплении, директора лютят нас в дверях кабинетов, кланчат у нас лес, кирпич, известку, уголь. И ведь никто из нас не считает это позором. Каждый думает: я план по углю выполнил, по хлебу перевыполнил, зябь поднял, мясо сдал, шерсть сдал, приветствие секретарю обкома послал,— меня теперь не тронь. И, правда, не трогают! А если тронут, у нас есть на то готовые слова: «Смотри, мол, сколько у нас теперь школ в районе, а в старое время было только две. У нас, мол, теперь на одной Украине больше школ, чем во всей Германии и Японии вместе взятых». Ну, это верно, это наша гордость! Но я спрашиваю: доколе мы, страна социализма, будем равнять себя по старому времени или по странам капитализма? Мы можем, обязаны равнять себя на то, как должно быть, как все это мнится в душе народной,— вот как мы обязаны себя равнять!.. Разве неправда?

И снова Валько сказал:

— То снятая правда, Матвий...

— А сами мы кто такие?— с волнением продолжал Костиевич,— мы из самой плоти народа, из самого его низу, мы сами — дети народа, и мы же его слуги. Я еще тогда, в семнадцатом году, как услышал Леонида Рыбалюка, понял, что нет выше счастья, как служить народу, и с

этого пошла моя судьба коммуниста-работника. Помнишь наше подполье, партизанство? Где мы, дети неграмотных отцов и матерей, нашли такую силу души и отвагу, чтобы выдержать и переселить немцев и белых? Тогда казалось, вот оно, самое трудное,— переселим, а там будет легче. А самое трудное оказалось впереди. Помнишь,— комитеты незаможных селян, подразверстка, кулацкие банды, махновщина, и вдруг— бац! Нэп! Учись торговать. А? И что ж, стали торговать. И научились!

— А помнишь, як восстанавливали шахты?— вдруг с необычным оживлением сказал Валько.— Меня ж тогда — я как раз демобилизовался — выдвинули директором той самой наклонной старухи, что теперь выработалась. Ото было дело. Ай-я-яй!.. Хозяйственного опыта никакого, спецы саботируют, механизмы стоят, электричества нет, банк не кредитует, рабочим платить нечем, а Ленин шлет телеграммы — давайте уголь, спасайте Москву и Питер! Для меня те телеграммы были, як святое заклиятие. Я Ленина бачив, ось як тебе, еще на втором съезде советов, в октябрьский переворот,— тогда я був еще солдатом-фронтотвиком. Я помню, подошел до него и пощупал его рукой, бо не мог поверить, шо то живой человек, як я сам... И что ж? Дал уголь!

— Да, правда... Я с той самой поры так и пошел низовым работником, тогда про нас так и казали — «укомщики», а теперь кажут «райкомщики»,— с усмешкой сказал Шульга.— И сколько же за эти годы вытянул на своих плечах наш брат «укомщик» та «райкомщик»! Сколько шишек свалилось на нашу голову, кого так ни ругали за годы советской власти, как нашего брата «райкомщика»! Наверно, сколько было и есть работников у советской власти, никому не выпадало столько егговоров, як нам! — с счастливым выражением лица сказал Матвей Костиевич.

— Ну, я думаю, в этом вопросе наш брат, хозяйственник, вам не уступит — с усмешкой сказал Валько.

— Нет, правда,— сказал Шульга проникновенным голосом,— нашему брату, райкомщику надо памятник поставить в веках. Я вот все говорил — «план, план»... А попробуй-ка ты из года в год, из года в год, день за днем, как часы, миллионы гектар земли вспахать, посеять, убрать хлеб, обмолотить, сдать государству, распределить по трудодням. А мельничный помол, а свекла, а подсолнух, а шерсть, а мясopоставки, а развитие поголовья скота, а ремонт тракторов! Каждый человек небось хочет одеться, поесть, да еще чайку с сахарком попить, вот он и вертится, сердечный наш райкомщик, как белка в колесе, чтоб удовлетворить эту потребность человека. Наш райкомщик, можно сказать, всю отечественную войну вытягивает на своих плечах по хлебу да по сырью...

— А хозяйственник?!— сказал Валько, одновременно и возмущенно и восторженно.— Вот уж кому, правда, памятник поставить, так это ему! Вот уж кто вытащил на себе пятилетки и первую, и вторую, и тащит на себе всю отечественную войну, так это он! Хиба ж не правда? Разве на селе — то план? В промышленности — вот то план! Разве на селе — то темп? В промышленности — вот то темп! Какие мы научились заводы строить,— чистые, элeгантные, як часы. А наши шахты? Какая-нибудь Англия,— ну что она в угольной промышленности понимает? Отсталость, дикость! Разве есть у них хоть одна шахта, як наша I-бис? Конфетка! И они ведь, капиталисты, привыкли на всем готовом. А мы

с нашим темпом, с нашим размахом всегда в напряжении: рабочих людей недостача, строительного материала недостает. Транспорт отстает, тысяча и одна больших и малых трудностей. Нет, наш хозяйственник это — гигант...

— То-то вот и оно! — с веселым, счастливым лицом говорил Шульга. — Я помню, на колхозном совещании вызвали нас на комиссию по резолюции. Там Сталин был, — я Сталина бачил, ось як тебе, — и там в перерыве зашел разговор о нашем брате-райкомщике. Один такой в очках, молоденький, из красных профессоров, як их тогда звали, стал о нашем брате говорить свысока: и отсталые-де мы, и Гегеля не читали, и вроде того, что не каждый день умываемся. Товарищ Сталин усмехнулся, та и каже: «Вот вас бы на выучку к райкомщикам, тогда бы вы поумнели!»... Ха-ха-ха! — развеселился Шульга.

— Да, коли б вин тогда не повернул круто всю страну на индустриализацию та на колхозы, хороши б мы были сейчас в войне, — хуже Китая! — сказал Валько. — Я тоже Сталина бачив, ось як тебе, на совещании хозяйственников в Москве, на том самом, де вин казав, шо хозяйственник, кто дела не знает, то анекдот, а не хозяйственник... Помнишь?

— А кто ж того времени не помнит! — возбужденно и весело сказал Шульга. — Я ж тогда считался знатоком деревни, не как-нибудь меня кинули на село, на помощь мужикам по раскулачиванию и по коллективизации... Нет, то великое время было, разве его забудешь? Весь народ пришел в движение. Не знали, когда и спали... Многие мужики тогда колебались, а уже вот перед войной даже самый отсталый почувствовал великие плоды тех лет... И правда, хорошо стали жить перед войной!

— А помнишь, что у нас тогда на шахтах творилось? — сказал Валько, поблескивая своими цыганскими глазами. — Я несколько месяцев и на квартире у себя не был, на шахте ночевал. Ей-богу, сейчас, как оглядываешься, и не веришь, да неужто ж это мы все сами сделали? Иной раз, честное слово, кажется, что не я сам это все проделывал, а какой-то мой ближний родственник. Сейчас вот закрою глаза и вижу весь наш Донбасс, всю страну в лесах стройки, и все наши штурмовые ночи, и вижу Сталина на трибуне, и як вин нам казав — в десять лет догнать капиталистические страны, а не то отстанем, а отсталых бьют! А теперь оно, бачишь, як обернулось...

— Да, никакому человеку в истории не выпадало столько, сколько выпало нам на плечи, а видишь, не согнулись. Вот я и спрашиваю: что ж мы за люди? — с наивным детским выражением сказал Шульга.

— А немец, дурень, думает, шо мы смерти боимся! — усмехнулся Валько. — Да, мы, большевики, привыкли к смерти. Нас, большевиков, какой только враг не убивал. Убивали нас царские палачи и жандармы, убивали юнкера в Октябре, убивали беляки и интервенты всех стран света, махновцы и антоновцы, кулаки по нас стреляли из обрезов, враги народа нас травили и подсылали до нас убийц, а мы все живы — любовью народа. Нехай сейчас нас убивают немцы-фашисты, а все ж таки им, а не нам лежать в земле. Правда, Матвій?

То великая, то злыгая правда, Андрий!.. На веки вечные буду я горд тем, шо судьба судила мне, простому рабочему человеку, пройти

свой путь жизни в нашей коммунистичной партии, пройти вместе с такими людьми, як Ленин и Сталин, шо открыли дорогу людям до счастливой жизни...

— Святая правда, Матвий, то наше великое счастье! — с чувством, неожиданным в этом суровом человеке, сказал Валько. — И еще большая радость у меня на душе, что выпала мне счастливая доля: в мой смертный час иметь такого товарища, як ты, Матвий...

— Великое доброе спасибо тебе за честь... Бо я сразу понял, якая у тебя красивая душа, Андрий...

— Дай же бог счастья нашим людям, шо останутся после нас на земли! — тихо, торжественно сказал Валько.

Так в свой предсмертный час исповедывались друг перед другом и перед своей совестью Андрей Валько и Матвей Шульга.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Майстер Брюкнер и вахтмайстер Балдер отбыли в окружную жандармерию, в город Ровеньки, километрах в тридцати от Краснодона, после полудня. Петер Фенбонг, ротенфюрер команды СС, прикомандированной к краснодонскому жандармскому пункту, знал, что майстер Брюкнер и вахтмайстер Балдер повезли в окружную жандармерию материалы допроса и должны получить приказ, как поступить с арестованными. Но Петер Фенбонг уже знал по опыту, каков будет приказ, как знали это и его шефы, потому что перед своим отъездом они отдали приказание Фенбонгу оцепить солдатами СС территорию парка и никого не допускать в парк, а отделение солдат жандармерии под командой сержанта Эдуарда Больмана было направлено в парк рыть большую яму, в которой могли бы уместиться, стоя вплотную один к другому, шестьдесят восемь человек.

Петер Фенбонг знал, что шефы вернутся не раньше, как поздним вечером. Поэтому он отправил своих солдат к парку под командованием младшего ротенфюрера, а сам остался в дворницкой при тюрьме.

В последние месяцы у него было очень много работы, и он был всегда поставлен в такое положение, что ни минуты не оставался один, и ему не удавалось не только вымыться с ног до головы, но даже сменить белье, потому что он боялся, что кто-нибудь увидит, что он носит на теле под бельем.

Когда уехали майстер Брюкнер и вахтмайстер Балдер и ушли в парк солдаты СС и солдаты жандармерии и все стихло в тюрьме, унтер Фенбонг прошел к повару на тюремную кухню и попросил у него кастрюлю горячей воды и таз, чтобы умыться; холодная вода всегда стояла в бочке, в сенях дворницкой.

Впервые после многих жарких дней подул холодный ветер и погнал по небу низкие набухшие дождем облака; день был серый, похожий на осенний, и вся природа этих угольных районов, — не говоря уже об открытом всем ветрам городке с его стандартными домами и угольной пылью, — обернулась своими самыми неприглядными сторонами. В дворницкой все же было достаточно светло, чтобы умыться, но Петер Фенбонг хотел, чтобы его не только не захватили здесь

врасплох, но и не могли бы увидеть его через окно, потому он опустил черную бумагу на окна и включил свет.

Как ни привык он с начала войны жить так, как он жил, как ни притерпелся к собственному дурному запаху, все-таки он испытывал невыразимое наслаждение, когда, наконец-то, смог спать все с себя и побыть некоторое время голым, без этой тяжести на теле.

Он был полным от природы, а с годами стал просто грузнеть и сильно потел под своим черным мундиром. Белье, не сменявшееся несколько месяцев, стало склизким и вонючим от пропитавшего его прокисшего пота и изжелта-черным от линявшего с изнанки мундира.

Петр Фенбонг снял белье и остался совсем голым с телом, давно не мытым, но белым от природы, поросшим по груди, в паху и по ногам и даже немного на спине светлым курчавым волосом. И когда он снял белье, обнаружилось, что он носит на теле своеобразные вериги. Собственно говоря, это были даже не вериги, это походило скорее на длинную ленту для патронов, какую носили в старину китайские солдаты. Это была разделенная на маленькие карманчики, каждый из которых был застегнут на пуговичку, длинная лента из прорезиненной материи, обвивавшая тело Петера Фенбонга крест-накрест через оба плеча и охватывавшая его повыше пояса. Сбоку она была стянута замызганными белыми тесемками, завязанными бантиком. Большая часть этих маленьких, размером в обойму, карманчиков была туго набита, а меньшая часть была еще пуста.

Петер Фенбонг распустил тесемки у пояса и снял с себя эту ленту. Она так давно облегалась его тело, что на этом белом полном теле, крест-накрест по спине и по груди и ободом повыше пояса, образовался темный след того нездорового цвета, какой бывает от пролежней. Петер Фенбонг снял ленту и аккуратно и бережно,—она была действительно очень длинная и тяжелая,—положил ее на стол и сразу стал яростно чесаться. Он ожесточенно, яростно расчесывал все свое тело короткими тупыми пальцами, расчесывал себе грудь и живот, и пах, и ноги, и все старался добраться до спины, то через одно плечо, то через другое, то заламывая правую руку снизу, под лопатку, и чесал себя большим пальцем, кряхтя и постанывая от наслаждения.

Когда он немного удовлетворил свой зуд, он бережно отстегнул пуговицу внутреннего кармана мундира и вынул маленький, потрошенный на кисет кожаный мешочек, из которого он высыпал на стол штук тридцать золотых зубов. Он хотел было распределить их в два-три еще незаполненных карманчика ленты. Но раз уж ему повезло остаться одному, он не удержался, чтобы не полюбоваться содержимым других наполненных карманчиков,—он так давно не выдал все это. И он, аккуратно, расстегивая пуговичку за пуговичкой, стал выкладывать по столу содержимое карманчиков отдельными кучками и стопками и вскоре выложил ими весь стол. Да, было на что посмотреть!

Здесь была валюта многих стран света—американские доллары и английские шиллинги, франки французские и бельгийские, кроны австрийские, чешские, норвежские, польские злотые. Они были подобраны по странам, золотые монеты к золотым, серебряные к серебряным, бумажки к бумажкам, среди которых была даже аккуратная стопка советских «сишеньких», то есть сотенных, от которых он, правда, не

ожидал никакой материальной выгоды, но которые все же оставил у себя, потому что жадность его уже переросла в маниакальную страсть коллекционирования. Здесь были кучки мелких золотых предметов — колец, перстней, булавок, брошек — с драгоценными камнями и без них, и отдельно кучки драгоценных камней и золотых зубов.

Тусклый свет электрической лампочки под потолком, засиженной мухами, освещал эти деньги и драгоценности на столе, а он сидел перед ними на табурете, полный, лысый, волосатый, в светлых роговых очках, расставив ноги и все еще изредка почесываясь, возбужденный и очень расположенный к самому себе.

Несмотря на обилие этих мелких предметов и денег, он мог бы, разбирая каждую денежку и каждую безделушку, рассказать, где, когда, при каких условиях и у кого или с кого он ее отобрал или снял и из кого были вырваны зубы, потому что с того самого момента, как он пришел к выводу, что должен делать это, чтобы не остаться в дураках, он только этим и жил, — все остальное было уже только видимостью жизни. Зубы он вырывал не только у мертвых, а и у живых, но все же он предпочитал мертвых, у которых можно было рвать их без особых хлопот. И когда в партии арестованных он видел людей с золотыми зубами, он ловил себя на том, что ему хотелось, чтобы скорей кончилась вся эта процедура допросов и чтобы этих людей скорей можно было умертвить.

Их было так много, умерщвленных, истерзанных, ограбленных мужчин, женщин, детей, стоящих за этими денежками, зубами и безделушками, что, когда он смотрел на все это, к чувству сладостного возбуждения и расположения к самому себе всегда примешивалось и некоторое беспокойство, исходившее, однако, не от него самого, Петера Фенбонга, а от некоего воображаемого, очень прилично одетого господина, вполне джентльмена, с перстнем на полном мизинце, в мягкой дорогой светлой шляпе, с гладко выбритым корректным, даже добрым лицом, но преисполненным осуждения по отношению к Петеру Фенбонгу.

Это был очень богатый человек, богаче Петера Фенбонга со всеми его драгоценностями, но как представитель старого, так сказать, чистого способа обогащения, он считал себя вправе осуждать Петера Фенбонга за его способ обогащения, считая этот способ как бы грязным. И с этим джентльменом Петр Фенбонг вел нескончаемый спор, очень, впрочем, добродушный, так как говорил только один Петер Фенбонг, стоящий в этом споре на гораздо более высоких и твердых позициях современного делового человека, знающего жизнь.

«Хе-хе, — говорил Петер Фенбонг, — в конце концов я вовсе не настаиваю, что я буду заниматься этим всю жизнь, в конце концов я стану обыкновенным торговцем или просто лавочником, если хотите, но я должен с чего-нибудь начать! Да, я прекрасно знаю, что вы думаете о себе и обо мне! Вы думаете: «Я — джентльмен, каждый видит источник моего благосостояния, у меня семья, я чисто вымыт, опрятно одет, я учтив с людьми и могу прямо смотреть им в глаза; если женщина, с которой я говорю, стоит, я тоже стою; я читаю газеты и книги и состою в двух благотворительных обществах и пожертвовал солидные средства на оборудование лазаретов в дни войны; и я люблю музыку и цветы и лунный свет на море. А Петр Фенбонг убивает лю-

дей ради их денег и драгоценностей, которые он присваивает, и даже не гнушается вырвать из людей золотые зубы и прячет все это на теле, чтобы никто не увидел, он вынужден месяцами не мыться и дурно пахнет, и поэтому я имею право осуждать его...» Хе-хе, позвольте, мой милейший и почтеннейший друг! Не забудьте, что мне сорок пять лет, я был моряком, я извездил все страны мира, и я видел решительно все, что происходит на свете!.. Не знакома ли вам картина, которую я, как моряк, побывавший в далеких странах, не раз имел возможность наблюдать, как ежегодно где-нибудь в Китае или в Индии миллионы людей умирают голодной смертью, так сказать, на глазах почтеннейшей публики? Впрочем, зачем же ходить так далеко! В благословенные годы довоенного процветания вы могли видеть почти во всех столицах мира целые кварталы, населенные людьми, не имеющими работы, умирающими на глазах почтеннейшей публики, иногда даже на папертях старинных соборов. Очень трудно согласиться с мыслью, что они умирают, так сказать, по собственной прихоти! Кто же не знает, что некоторые почтеннейшие люди, вполне джентльмены, когда им это выгодно, не стесняются выбрасывать на улицы своих предприятий миллионы здоровых мужчин и женщин, и за то, что эти мужчины и женщины плохо мирятся со своим положением, их ежегодно в громадных количествах морят в тюрьмах или просто убивают на улицах и площадях, убивают вполне законно с помощью полиции и солдат!.. Я привел вам несколько разнообразных способов,— я мог бы их умножить,— способов, которыми на земном шаре ежегодно умерщвляют миллионы людей — не только здоровых мужчин, а и детей, женщин и стариков — умерщвляют, собственно говоря, в интересах вашего обогащения. Я уже не говорю о войнах, когда в кратчайшие сроки производится особенно большое умерщвление людей в интересах вашего обогащения. Милейший и почтеннейший друг! Зачем же нам играть в прятки? Скажем друг другу чистосердечно: если мы хотим, чтобы на нас работали другие, мы должны ежегодно тем или иным способом некоторое количество их убивать! Во мне вас пугает только то, что я нахожусь, так сказать, у подножия мясорубки, я чернорабочий этого дела и по роду своих занятий вынужден не мыться и дурно пахнуть! Но придет время, я вымоюсь и буду вполне опрятным человеком, просто лавочником, если хотите, у которого вы можете покупать для своего стола вполне доброкачественные сосиски...»

Такой — а может быть и не совсем такой — принципиальный спор вел Петер Фенбог с воображаемым джентльменом с гладко выбритым, корректным, даже добрым лицом и в хорошо проглаженных брюках. И, как всегда, одержав победу над джентльменом, Петер Фенбог пришел в окончательно добродушное настроение. Он запрятал кучки с деньгами и ценностями в соответствующие кармашки и аккуратно застегнул кармашки на пуговички, после чего стал мыться, пофыркивая и повизгивая от наслаждения и разливая по полу мыльную воду, что, впрочем, его совершенно не беспокоило: придут солдаты и подотрут.

Он вымылся не так уж начисто, но все же облегчил себя, снова обвил и перепоясал себя лентой, надел чистое белье, спрятал грязное и облачился в свой черный мундир. Потом он чуть отогнул черную бумагу и выглянул в окно и ничего не увидел, так было темно во дворе

тюрьмы. Опыт, уже превратившийся в инстинкт, подсказал ему, что шефы вот-вот должны прибыть. Он вышел во двор и некоторое время постоял у дворницкой, чтобы привыкнуть к темноте, но к ней нельзя было привыкнуть. Холодный ветер нес над городом, над всей донецкой степью тяжелые темные тучи, их тоже не видно было, но слышно было, как они шуршат, обгоняя и задевая одна другую влажными шерстистыми боками.

И в это время Петер Фенбонг услышал приближающийся приглушенный звук мотора и увидел две огненные точки полуприкрытых фар машины, спускавшейся с горы мимо здания, раньше — районного исполкома, а теперь — районной сельскохозяйственной комендатуры, которая при свете фар чуть выступала из тьмы одним своим крылом. Шефы возвращались из окружающей жандармерии. Петер Фенбонг прошел через двор и черным ходом, охранявшимся солдатом жандармерии, узнавшим ротенфюрера и отдавшим ему честь ружьем, вошел в здание тюрьмы.

Заключенные в камерах тоже слышали, как машина с приглушенным мотором подошла к тюрьме. И та необыкновенная тишина, которая стояла в тюрьме весь день, эта тишина была сразу нарушена шагами по коридору, щелканьем ключа в замке, хлопаньем дверей и поднявшейся в камерах возней и этим знакомым, ранящим в самое сердце плачем ребенка в дальней камере. Он вдруг поднялся до пронзительного надрывного крика, этот плач,— ребенок кричал с предельным напряжением, из последних сил, он уже хрипел.

Матвей Костиевич и Валько тоже слышали эту приближающуюся к ним возню в камерах и плач ребенка. Иногда им казалось, что они слышат голос женщины, которая что-то горячо говорила, кричала и умоляла и, кажется, заплакала. Потом щелкнул ключ в замке, жандармы вышли из камеры, где сидела женщина с ребенком, и зашли в соседнюю, где сразу поднялась возня. Но и тогда, сквозь эту возню, казалось, доносился необыкновенно печальный и нежный голос женщины, уговаривавшей ребенка, и затихающий, словно убаюкивающий самого себя, голос ребенка:

— А... а... а... А... а... а...

Жандармы вошли в камеру, соседнюю с той, где сидели Валько и Матвей Костиевич, отделенную тонкой дощатой перегородкой, и оба они поняли смысл той возни, что возникла в камерах с приходом жандармов: жандармы связывали заключенным руки.

Их последний час наступил.

В соседней камере было много народа, и жандармы пробыли там довольно долго. Наконец они вышли, замкнули камеру, но не сразу вошли к Валько и Костиевичу. Они стояли в коридоре, обмениваясь торопливыми замечаниями, потом по коридору кто-то побежал бегом к выходу. Некоторое время постояла тишина, в которой слышны были только бубнящие голоса жандармов. Через некоторое время по коридору зазвучали шаги нескольких человек, приближавшихся к камере, раздался удовлетворенный возглас по-немецки, и в камеру, осветив ее электрическими фонариками, вошло несколько жандармов во главе с унтером Фенбонгом; они держали револьверы наизготовку; в дверях виделось еще человек пять солдат. Видно, жандармы боялись, что эти двое, как

всегда, окажут им физическое сопротивление. Но Матвей Костиевич и Валько даже не посмеялись над этим: их души были уже далеко от этой суестьи. Они спокойно дали связать им руки за спиной, а когда Фенбонг знаками показал, что они должны сесть и им свяжут ноги, они дали связать им ноги, и им наложили на ноги пугы, чтобы можно было только ступать мелкими шагами и нельзя было убежать.

После того их снова оставили одних, и они молча просидели в камере еще некоторое время, пока не перевязали всех заключенных.

И вот зазвучал в коридоре мерный и быстрый топот шагов; он все нарастал, пока не заполнил весь коридор,— солдаты отбивали шаг на месте и по команде стали и повернулись, грохнув ботинками и взяв ружья к ноге. Загрохотали двери камер, и заключенных начали выводить в коридор.

Как ни тускло светили в коридоре лампочки под потолком, Матвей Костиевич и Валько невольно зажмурились, так долго они пробыли в темноте. Потом они стали оглядывать своих соседей и тех, кто стоял дальше в шеренге— в том и в другом конце коридора.

Через одного человека от них стоял, так же со спутанными ногами, как и они, рослый пожилой босой мужчина в окровавленном нижнем белье. И Валько и Матвей Костиевич невольно отшатнулись, признав в этом человеке Петрова. Все тело его было так истерзано, что белье влипло в него, как в сплошную рану, и присохло,— должно быть, каждое движение доставляло этому сильному человеку невыносимые мучения. Одна щека его была развалена до кости ударом пужа или штыка и гноилась. Петров узнал их и склонил пред ними голову.

В противоположной стороне по коридору, далеко от Шульги и Валько, стоял старый Лютиков, тоже босой, но без пуг на ногах. Насколько можно было судить, он не был так изувечен, но был очень изнурен: его все время клонило ко сну, он едва стоял на ногах.

Но что заставило Валько и Матвея Костиевича содрогнуться от жалости и гнева, это то, что они увидели в дальнем конце коридора у выхода из тюрьмы, куда с выражением страдания, ужаса и изумления смотрели почти все заключенные: там стояла молодая, с измученным, но сильным по выражению лицом женщина в бордовом платье, с ребенком на руках, и руки ее, обнимавшие ребенка, и самое тело ребенка были так скручены веревками, что он был наглухо и павечно прикреплен к телу матери. Ребенку еще не было и года, его лежачая головка с редкими светлыми волосиками, чуть завывавшимися на затылке, лежала на плече у матери, глазенки были закрыты, но он не был мертв, он спал.

Матвей Костиевич признал в этой женщине ту самую Вдовенко, что была оставлена вместе с ним для подпольной работы— он в беседе с Иваном Федоровичем Проценко назвал ее «доброй жинкой». Матвей Костиевич вдруг увидел свою жену и детей, и слезы брызнули у него из глаз. Он боялся, что немцы, да и свои люди, увидят эти слезы и неправильно подумают о Шульге. И он был рад, когда унтер Фенбонг, наконец, пересчитал заключенных и их вывели во двор между двумя шеренгами солдат.

Ночь была так черна, что люди, стоявшие рядом, не могли видеть друг друга. Их построили в колонну по четыре, оцепили, вывели за

ворота и, освещая путь и самую колонну электрическими фонариками, вспыхивавшими то спереди, то сзади, то с боков, повели по улице в гору. Холодный ветер, однообразно, с ровным напряжением несшийся над городом, обвил их своими сырыми струями, и слышен стал влажный шорох туч, мчавшихся так низко над головой, что, казалось, до них можно было бы достать рукою. Люди жадно хватали ртом воздух. Колонна шла медленно, в полном безмолвии. Изредка унтер Фенбонг, шагавший впереди, оборачивался и направлял свет большого, висевшего на руке фонаря на колонну, и тогда снова выступала из тьмы женщина с привязанным к ней ребенком, шагавшая крайней в первой шеренге,— ветер заносил вбок подол ее бордового платья.

Матвей Костиевич и Валько шли рядом, касаясь друг друга плечом. Слез уже не было на глазах Матвея Костиевича. Чем дальше они шли, Валько и Матвей Костиевич, тем все дальше и дальше отходило от них все то личное, даже самое важное и дорогое, что подспудно так трогало и волновало их до самой последней минуты и не хотело отпустить из жизни. Величие осенило их своим крылом. Невыразимый ясный покой спустился на их души. И они, подставляя лица ветру, молча и тихо шли навстречу своей гибели под этими низко шуршащими над головой тучами.

У входа в парк колонна остановилась; голос из темноты что-то спросил у унтера Фенбонга. Некоторое время унтер Фенбонг, сержант жандармерии Эдуард Больман и младший ротенфюрер, командовавший солдатами СС, охранявшими парк, при свете электрического фонаря рассматривали бумагу, которую унтер Фенбонг достал из внутреннего кармана мундира.

После того сержант пересчитал людей в колонне, освещая их короткими вспышками фонаря, и снова выступила на мгновение женщина в бордовом платье с привязанным к ней ребенком.

Ворота медленно со скрипом распахнулись. Колонну перестроили по-двое и повели главной аллеей, между зданиями клуба имени Ленина и школой имени Горького, где помещался теперь Дирекцион объединенных предприятий, входивших ранее в трест «Краснодонуголь». Но почти сразу за школой унтер Фенбонг и сержант Больман свернули в боковую аллею. Колонна свернула за ними.

Ветер сгибал деревья и заносил листву в одном направлении, и шум трепещущей, бьющейся листвы, неумолчный, многогласо-однообразный, наполнял собой все пространство тьмы вокруг.

Их привели на тот запущенный, мало посещаемый даже в хорошие времена край парка, что примыкал к пустырю с одиноким каменным зданием немецкой полицейской школы. Здесь, посреди продолговатой поляны, окруженной деревьями, была выкопана длинная яма. Еще не видя ее, люди почувствовали запах вывороченной сырой земли.

Колонну раздвоили и развели по разным сторонам ямы, разлучив Валько и Костиевича. Люди стали наткаться на бугры вывороченной земли и падать, но их тут же подымали ударами прикладов.

Десятки фонариков осветили длинную темную яму, и валы вывороченной земли по бокам ее, и измученные лица людей, и отливавшие сталью штывки немецких солдат, оцеплявших поляну сплошной стеной. И все, кто стоял у ямы, увидели у ее края, под деревьями, мастера

Брюкнера и вахтмайстера Балдера в накинутых на плечи черных резиновых плащах.

Майстер Брюкнер сделал знак рукой. Унгер Фенбонг высоко поднял над головой фонарь, висевший на его руке, и тихо скомандовал своим сиплым бабьим голосом. Солдаты шагнули вперед и штыками стали подталкивать людей к яме. Люди, спотыкаясь, увязая ногами и падая, молча взбирались на валы земли. Слышно было только сопение солдат и шум бьющейся на ветру листвы.

Матвей Шульга, тяжело ступая, насколько позволяли ему спутанные ноги, поднялся на вал. Он увидел при вспышках фонариков, как людей сбрасывали в яму; они спрыгивали или падали, иные молча, иные с протестующими или жалобными возгласами. И снова он увидел Вдовенко в бордовом платье, с привязанным ребенком, который, ничего не видя и не слыша, а только чувствуя тепло матери, попрежнему спал, положив голову ей на плечо. Чтобы не разбудить его, не имея возможности двигать руками, она села на валу и, помогая себе ногами, сама сползла в яму. Больше Матвей Шульга уже никогда ее не видел.

— Товарищи! — сказал Шульга своим хриплым, сильным голосом, покрывшим собой все остальные шумы и звуки. — Прекрасные мои товарищи! Да будет вам вечная память и слава! Да живет наша пресветлая мати-родина! На страх врагам, на счастье нашим людям, на радость бедным людям всего света! Да здравствует...

Штык вонзился ему в спину меж ребер. Шульга, напрягши всю свою могучую силу, не упал, а спрыгнул в яму, и голос его загремел из ямы:

— Да здравствует велика коммунистична партия, шо указала людям путь к справедливости!

— Смерть врагам! — громко сказал Андрей Валько рядом с Шульгой: судьба судила им вновь соединиться в могиле.

Яма была так забита людьми, что нельзя было повернуться. Наступило мгновение последнего душевного напряжения: каждый готовился принять в себя свинец. Но не такая смерть была уготована им. Целые лавины земли посыпались им на головы, на плечи, за вороты рубаш, в рот и глаза, — и люди поняли, что их закапывают живыми.

Шульга, возвысив голос, зашел:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов...

Валько низко подхватил. Все новые голоса, сначала ближние, потом все более дальние, присоединялись к ним, и медленные волны «Интернационала» взнеслись из-под земли к темному, тучами несущемуся над миром небу.

И только Вдовенко не могла петь: она прикрыла последнее дыхание ребенка материнским поцелуем...

В этот темный, страшный час в маленьком домике на Деревянной улице тихо отворилась дверь, и Мария Андреевна Борц, Валя и еще кто-то, небольшого роста, тепло одетый, с котомкой за плечами и палкой в руке, сошли с крыльца.

Мария Андреевна и Валя взяли человека за обе руки и повели по улице в степь. Ветер подхватил их платья.

Через несколько шагов он остановился.

— Темно, лучше тебе вернуться,— сказал он почти шопотом.

Мария Андреевна обняла его, и так они постояли некоторое время.

— Прощай, Маша,— сказал он и беспомощно махнул рукой.

И Мария Андреевна осталась, а они пошли, отец и дочь, не отпуская его руки. Валя должна была сопровождать отца до того, как начнет светать. А потом, как не был он плох глазами, ему предстояло самому добираться до города Сталино, где он предполагал укрыться у родственников жены.

Некоторое время Мария Андреевна еще слышала их шаги, потом и шагов не стало слышно. Беспросветная холодная чернота двигалась вокруг, но еще чернее было у Марии Андреевны на душе. Вся жизнь — работа, семья, любовь, мечты, дети — все это распалось, рушилось, впереди ничего не было.

Она стояла, не в силах стронуться с места, и ветер, свистя, обновил платье вокруг нее, и слышно было, как низко-низко, тихо шуршат тучи над головой.

И вдруг ей показалось — она сходит с ума... Она прислушалась... Нет, ей не почудилось, она снова услышала это... Поют! Поют «Интернационал»... Нельзя было определить источник этого пения. Оно вплеталось в вой ветра и шорох туч и вместе с этими звуками разносилось по всему темному миру.

У Марии Андреевны, казалось, остановилось сердце; все тело ее забило дрожью.

Словно из-под земли доносилось до нее:

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

— Я, Олег Кошевой, вступая в ряды членов «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь: беспрекословно выполнять любые задания организации; хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в «Молодой гвардии». Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть героев-шахтеров. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть!..

— Я, Ульяна Громова, вступая в ряды членов «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь...

— Я, Иван Туркенич, перед лицом своих друзей по оружию, перед

лицом многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь...

— Я, Иван Земнухов, перед лицом своих друзей, перед лицом многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь...

— Я, Сергей Тюленин, торжественно клянусь...

— Я, Любовь Шевцова, торжественно клянусь...

.....
Должно быть, он совсем не понял ее, этот Сергей Левашов, когда пришел тогда к ней в первый раз и постучал в окно и она выбежала к нему, а потом они разговаривали весь остаток ночи,—кто его знает, что он такое себе вообразил!

Во всяком случае первая трудность в этой поездке у нее возникла еще здесь, с Сергеем Левашовым. Конечно, они были старые товарищи, и Любка не могла уехать, не предупредив его. Сергей Левашов, еще когда дядя Андрей был на воле, по его совету поступил в гараж Дирекциона шофером грузовых машин. Любка послала за ним мальчишку с улицы,—они все дружили с Любкой за то, что она была характером похожа на них.

Сергей пришел прямо с работы, поздно, в той самой спецовке, в какой он вернулся из Сталино,—спецовок при немцах не полагалось даже шахтерам. Он был очень грязный, усталый, угрюмый.

Допытываться, куда и зачем она едет, это было не в его обычае, но, видно, только это и занимало его весь вечер и он совершенно извел Любку тяжелым своим молчанием. В конце концов она не выдержала и накричала на него. Что она ему—жена, любовь? Она не может думать ни о какой любви, когда еще так много всего ожидает ее в жизни,—что он такое вообразил, в самом деле, чтобы мучить ее? Они просто товарищи, и она не обязана давать ему отчета: едет, куда ей надо, по семейному делу.

Она все-таки видела, что он не вполне верит в ее занятия и просто ревнует ее, и это доставляло ей некоторое удовольствие.

Ей надо было хорошенько выспаться, а он все сидел и не уходил. Характер у него был такой настойчивый, что он мог всю ночь не уйти, и в конце концов Любка его прогнала. Все-таки ей было бы жалко, если бы он все это время без нее находился в таком мрачном состоянии,—она проводила его в палисадник и у самой калитки взяла под руку и на мгновение прижалась к нему и убежала в дом, и сразу разделась и легла в постель к матери.

Конечно, очень трудно было и с мамой. Любка знала, как тяжело будет маме остаться одной, такой беспомощной перед жизненными невзгодами, но маму было очень легко обмануть, и Любка приласкалась к ней и напела ей всякое такое, чему мама поверила, потом так и уснула у мамы на кровати.

Любка проснулась чуть свет и, напевая, стала собираться в дорогу. Она решила одеться попроще, чтобы не затрепать лучшего своего платья, но все-таки как можно поярче, чтобы бросаться в глаза, а самое свое шикарное платье чистого голубого крепдешина, голубые туфли и кружевное белье и шелковые чулки она уложила в чемоданчик. Она завивалась меж двух маленьких простых зеркал, в которых едва можно было видеть всю голову, часа два, в нижней рубашке и в штанишках,

повертывая голову туда и сюда и напевая, и от напряжения упираясь в пол то одной, то другой, поставленной набок крепкой босой сливочной ногой с маленькими и тоже крепкими пальцами. Потом она надела пояс с резинками, обтерла ладошками розовые ступни и надела фильдеперсовские чулки телесного цвета и кремовые туфли и обрушила за себя прохладное шуршащее платье в горошках, вишнях и еще, чорт его знает в чем, ярко-пестром. В это же время она уже что-то жевала на ходу, не переставая мурлыкать.

День был холодный, тучи низко бежали над степью. Любка, не чувствуя холода, румяная от ветра, заносившего яркий подол ее платья, стояла на открытом ворошиловградском шоссе, с чемоданчиком в одной руке и легким летним пальто на другой.

Немецкие солдаты и ефрейторы с грузовых машин, с воем мчавшихся мимо нее по шоссе, зывали ее, хохоча и иной раз подавая ей циничные знаки, но она, презрительно сощурившись, не обращала на них внимания. Потом она увидела приближавшуюся к ней вытянутую, низкой посадки, светлую легковую машину и немецкого офицера рядом с шофером и небрежно подняла руку.

Офицер быстро обернулся внутри кабины, показал выцветший на спине мундир, — должно быть, кто-то постарше ехал на заднем сиденье, — машина, завизжав на тормозах, остановилась.

— Setzen Sie sich! Schneller!¹ — сказал офицер, приоткрыв дверцу и улыбувшись Любке одним ртом. Он захолопнул дверцу и, занеся руку, открыл дверцу заднего сиденья.

Любка, нагнув голову, держа перед собой чемоданчик и пальто, впорхнула в машину, и дверца за ней захлопнулась.

Машина рванула, зашла на ветру.

Рядом с Любкой сидел поджарый сухой полковник с несвежей кожей гладко выбритого лица, со свисающими брылями, в высокой выгоревшей от солнца фуражке. Немецкий полковник и Любка с двумя прямо противоположными формами дерзости — полковник оттого, что он имел власть, Любка оттого, что она все-таки сильно сдрейфила, — смотрели друг другу в глаза. Молодой офицер впереди, обернувшись, тоже смотрел на Любку.

— Wohin befehlen Sie zu fahren?² — спросил этот гладко выбритый полковник с улыбкой бушмена.

— Ни-и черта не понимаю! — протяжно ответила Любка. — Говорите по-русски или уж лучше молчите.

— Куда-куда... — по-русски сказал полковник, неопределенно махнув рукой вдаль.

— Закудахтал, слава тебе, господи! — сказала Любка. — Ворошиловград, чи-то — Луганск... Ферштеге? Ну то-то!..

Как только она заговорила, испуг ее прошел, и она сразу обрела ту естественность и легкость обращения, которая любого человека, и в том числе немецкого полковника, заставляла воспринимать все,

¹ Садитесь! живее!

² Куда прикажете довезти?

что бы Любка ни говорила и ни делала, как нечто само собой разумеющееся.

— Скажите, который час?.. Часы, часы!.. — сказала Любка и пальчиком постукала себе повыше кисти.

Полковник прямо вытянул длинную руку, чтобы оттянуть рукав на себя, и механически согнул ее в локте и поднес к лицу Любки квадратные часы на костистой, поросшей редким пепельным волосом руке.

В конце концов не обязательно знать языки, при желании всегда можно понять друг друга.

Кто она такая? Она — артистка. Нет, она не играет в театре, она танцует и поет. Конечно, у нее в Ворошиловграде очень много квартир, где она может остановиться, ее знают многие приличные люди, ведь она дочь известного промышленника, владельца шахт в Горловке. К сожалению, советская власть лишила его всего, и несчастный умер в Сибири, оставив жену и четырех детей, — все девушки и все очень хороши собой. Да, она младшая. Нет, его гостеприимством она не может воспользоваться, ведь это может бросить тень на нее, а она совсем не такая, — она из хорошей семьи. Свой адрес? Его она безусловно даст, но она еще не уверена, где именно она остановится. Если полковник разрешит, она договорится с его лейтенантом, как они смогут найти друг друга.

— Кажется, вы имеете большие шансы, чем я, Рудольф!

— Если это так, я буду стараться для вас, Herr Oberst!

Далеко ли фронт? Дела на фронте таковы, что такая хорошенькая девушка может уже не интересоваться ими. Во всяком случае, она может спать совершенно спокойно. На-днях мы возьмем Сталинград. Мы уже ворвались на Кавказ, — это ее удовлетворит?.. Кто ей сказал, что на верхнем Дону фронт не так уж далеко?.. О, эти немецкие офицеры! Оказывается, он не один среди них болтливый... Говорят, что все хорошенькие русские девушки — шпионки, правда ли это?.. Хорошо: это случилось потому, что на этом участке фронта — венгерцы. Конечно, они лучше, чем эти вонючие румыны и макаронники, но на них на всех нельзя положиться... Фронт невыносимо растянут, огромное количество людей съедает Сталинград. Попробуйте снабдить все это! Я покажу вам это по линиям руки, — дайте вашу маленькую ладонь... Вот эта большая линия, это на Сталинград, а эта, прерывистая, это — на Моздок, — у вас очень непостоянный характер!.. Теперь увеличьте это в миллион раз, и вы поймете, что интендант германской армии должен иметь железные нервы. Нет, она не должна думать, что он имеет дело только с солдатскими штанами, у него нашлось бы кое-что и для хорошенькой девушки, прекрасные вещицы, вот сюда, на ноги, и сюда, — она понимает, о чем он говорит? Может быть, она не откажется от шоколада? Не помешал бы и глоток вина, — чертовская пыль!.. Это вполне естественно, если девушка не пьет, но — французское! Рудольф, остановите машину...

Они остановились, метрах в двухстах не доезжая большой станицы, вытянувшейся по обем сторонам шоссе, и вылезли из машины. Здесь был пыльный съезд на проселок по краю балки, поросшей вербою впису и обильной травой, уже высохшей, по склону, защищенному от ветра. Лейтенант указал шоферу съехать на проселок к балке. Ветер

подхватила платье Любки, и она, придерживая его руками, побежала вслед за машиной, впереди офицеров, увязая туфлями в растолченной сухой земле, сразу набившейся в туфли.

Лейтенант, лица которого Любка почти не видела, а все время видела только его выцветшую спину, и шофер-солдат вынесли из машины мягкий кожаный чемодан и бело-желтую мелкого плетения тяжелую корзину.

Они расположились с подветренной стороны, на склоне балки на высохшей густой траве. Любка не стала пить вина, как ее ни уговаривали. Но здесь на скатерти было столько вкусных вещей, что было бы глупо от них отказываться, тем более, что она была артистка и дочь промышленника, и она ела сколько хотела.

Ей очень надоела эта земля в туфлях, и она разрешила внутреннее сомнение — поступила ли бы так дочь промышленника, или нет — тем, что сняла кремовые туфли, вытряхнула землю, обтерла ладошками свои маленькие ступни в фильдеперсовых чулках и уже осталась так в чулках, чтобы ноги подышали, пока она сидит. Должно быть, это было вполне правильно, — во всяком случае немецкие офицеры приняли это, как должное.

Ей все-таки очень хотелось узнать, много ли дивизий находится на том участке фронта, который был наиболее близок к Краснодару и пролегал по северной части Ростовской области, — Любка действительно знала уже от немецких офицеров, бывших у них на постое, что часть Ростовской области по-прежнему находится в наших руках. И, к большому неудовольствию полковника, который был настроен более лирично, чем деловито, она все время выражала опасение, что фронт будет в этом месте прорван и она снова попадет в большевистское рабство.

В конце концов полковника обидело такое недоверие к немецкому оружию, и он — *verdammt nochmal!* — удовлетворил ее любопытство.

Пока они тут закусывали, со стороны станицы послышался все нараставший нестройный топот ног по шоссе. Вначале они не обратили на него внимания, но он, возникшая издалека, все нарастал, заполняя собой все пространство вокруг, будто шла длинная, нескончаемая колонна людей. И даже отсюда, со склона балки, видны стали массы пыли, несомые ветром в сторону и ввысь от шоссе. Доносились отдельные голоса и выкрики, мужские — грубые, и женские — жалобные, будто причитали по покойнику.

Немецкий полковник и лейтенант и Любка встали, высунувшись из балки. Вдоль по шоссе, все вытягиваясь и вытягиваясь из станицы, двигалась большая колонна советских военнопленных, конвоируемая румынскими солдатами и офицерами. Вдоль колонны, иногда прорываясь к ней сквозь румынских солдат, бежали старые и молодые казачки и девочки, крича и причитая и бросая то в те, то в другие вздымавшиеся к ним из колонны черные сухие руки куски хлеба, помидоры, яйца, иногда целую буханку или даже связанный узелок.

Военнопленные шли полураздетые, в изорванных, почерневших и пропачканных сверху остатках военных брюк и гимнастеров, в большинстве босые или в страшном подобии обуви, в разбитых лаптях. Они шли сбросив бороды, такие худые, что, казалось, одежда у них брошена мимо на скелеты. И страшно было видеть на этих лицах просветленные

улыбки, обращенные к бегущим вдоль колонны кричащим женщинам, которых солдаты отгоняли ударами кулаков и прикладов.

Прошло одно мгновение, как Любка высунулась из балки, но уже в следующее мгновение, не помня, когда и как она схватила со скатерти белые булки и еще какую-то еду, она уже бежала как была, в фильдеперсовых чулках, по этому съезду с размешанной сухой землей, взбежала на шоссе и ворвалась в колонну. Она совала булки, куски в одни, в другие, в третьи протягивавшиеся к ней черные руки. Румынский солдат пытался ее схватить, а она увертывалась; на нее сыпались удары его кулаков, а она, нагнув голову и отгораживаясь то одним, то другим локтем, кричала:

— Бей, бей, сучья лапа! Да только не по голове!

Чьи-то сильные руки извлекли ее из колонны. Она очнулась на обочине шоссе и увидела, как немецкий лейтенант бил наотмашь по лицу румынского солдата, а перед взбешенным полковником, похожим на поджарого оскаленного пса, стоял навьгтяжку румынский офицер в салатной форме и что-то бессвязно лепетал на языке древних римлян.

Но окончательно она пришла в себя, когда кремовые туфли снова были у нее на ногах, и машина с немецкими офицерами мчала ее к Ворошиловграду. Самое удивительное было то, что и этот поступок Любки немцы приняли, как само собой разумеющееся.

(Продолжение следует)

Верно завтра будет отпеванье,
А потом осенним мокрым днем,
Горсть земли ей бросив на прощанье,
Крест над ней поставим и уйдем.

Ну, а вдруг она, не как другие,
Нас навеки бросить не смогла,
Вдруг ее не смерть, а летаргия
В мир теней обманом увела.

Мы уже готовим оправданья,
Суетные круглые слова,
А она еще в жару страданья
Что-то шепчет нам, полужива.

Слушай же ее, пока не поздно,
Боже мой, как хочет она жить,
Как нас молит трепетно и грозно:
Двадцать дней ее не хоронить!

* * *

Первый снег в окно твоей квартиры
Заглянул несмело, как ребенок,
А у нас лимоны по две лиры,
Красный перец на стенах белых.
Мы живем на вилле ди Веллина,
Трое русских, три невольных друга.
По ночам стучатся апельсины
В наши окна, если ветер с юга.
На березы вовсе не похожи
Кактусы под окнами маячат,

И, как все кругом, чужая тоже
Женщина по-итальянски плачет.
Пароходы грустно, по-собачьи
Лают, сидя на цепи у порта.
Продают на улицах рыбачки
Осьминога и морского чорта.
Юбки матерей не отпуская,
Бродят черные, как галки, дети...
Никогда не думал, что такая
Может быть тоска на белом свете.

Италия

* * *

На годовщине свадьбы был
Я у друзей, что издавна
Я больше всех других любил,
Как книгу, что не издана.

Был чай у круглого стола,
И сад в июльском шелесте.
Хозяйка мне была мила
Той поздней женской прелестью,
Той чуть усталой красотой,
Где молодость кончается,
Но за щемящею чертой,
Где все еще случается.

И той, страстей сберегшей след,
Особенной улыбкою,
Когда прожить и двадцать лет
Не будет с ней ошибкою.

Я вспоминал про нас с тобой,
Про наши опасения.
Вдруг разлученными судьбой
Быть в наши дни осенние,
Как вздумав вдруг меня корить,
Страшась за расстояния,
Боясь разлюбленную быть,
Ты сердилась заранее.

Ту самую тоску, что день деньской
сейчас
Так властно на меня накладывает
лапы.

Моя ремарка будет коротка:
Семь нот эпитафией поставивши
вначале,
Я просто напишу: «Тоска».
Внизу играют на рояле.

3

Пять дней живу в пустом немецком
доме.
Дни так ползут, как будто воз везу,
И нету никого со мною, кроме
Моей тоски да двух солдат внизу.

Идут дожди. Затишье. Где-то там
Раз в день лениво вспыхнет канонада.
Шофер за мною ходит по пятам:
«Машина вам нужна?» — «Пока не
надо».

Шофер скучает тоже. Там внизу,
Он на рояль накладывает руки
И выжимает каждый день слезу
Одной и той же песенкой — разлуки.

Я б мог его заставить перестать,
Ногою постучать, чтоб замолчали,
Но эта песня мне сейчас подстать
Своей жестокой простотой печали.

Уж, видно, так родились мы на свет,
Берет за сердце самое простое,
Для человека университет
В минуты эти ничего не стоит.

Он слушает расстроенный рояль
И пение охрипшего солдата.
Ему себя до слез ужасно жаль.
И кажется, что счастлив был когда-то.
И кажется ему, что он умрет,
Что все, как в песне, непременно
будет,
Что пуля прямо в сердце попадет
И верная жена его забудет.

Я не могу здесь крикнуть: «Замолчи!»
Здесь власть твоя. Услышь из
страшной дали
И там сама ногою постучи,
Чтоб здесь играть мне песню
перестали.

НА ЧУЖБИНЕ

Пускай в Москве ты молчалив и сух,
Тебя порой не любят справедливо
За то, что ты бранил кого-то вслух,
Кого-то выслушал нетерпеливо,

Кого-то вдруг в лицо не вспомнил ты,
Небрежен с кем-то был не по
заслугам,
Среди своей московской суеты

Не встретился с тебе звонившим
другом,

За то, что ты, делами осажден,
Не звал гостей и не ходил к
знакомым,
За то, что твой охрипший телефон,
Как попугай, твердил все: «Нету
дома».

За мной на вещи слишком трезвый
взгляд,
За то, что мир твой слишком кругл и
прочен,
За то, что ты, как люди говорят,
Когда-то лучше был. Как все мы,
впрочем.
Но вдруг, в чужой земле, куда
войной
Забросило тебя, как в преисподню,
Вдруг скажет кто-то, встретившись с
тобой,
О москвичах, приехавших сегодня.
Ты с ними был в Москве едва
знаком,
Два-три кивка, случайных разговора,
Но здесь, не будь машины, хоть
пешком:
Где, где они? И, разбудив шофера,
Ты оглашаешь ночь сплошным
гудком,
Ты гонишь в дождь свой прыгающий
«виллис»
В немецкий город, в незнакомый дом,
Где, кажется, они остановились.
Ты долго светишь фарой на дома,
Чужую тарабарщину читаешь,
Прохожих нет, и, хоть сойди с ума,
Где этот дом, ты сам не понимаешь.
Костел, особняки, еще костел,
Пустых домов визжащие ворота.
Но вот ты, наконец, нашел, нашел,
Тебя по-русски окликает кто-то.
И открывает дверь и узнают,
Как, может быть, в Москве бы не
узнали,
— Ну, как вы тут?— А вы, давно вы
тут?
— А мы как раз сегодня вспоминали.
Тот сумасшедший русский разговор
С радушьем, шумом, с нежными
словами.
Как странно, что в Москве мы до сих
пор,
Я и они — мы не были друзьями.
А женщины уж в кухне жгут костер.
— Нет, с нами ужинать, а то еще
уедем.

И пожилой, с одышкой, актер
Бегом бежит за водкою к соседям.
Кого-то будят, чтоб и он пришел,
Да чтоб с гитарой:— Будем петь!
Хотите?
— Как не хотеть!— Ну, а пока за
стол,
За стол, за стол, скорее проходите!
И мы сидим у сдвинутых столов,
И тесно нам и водка в чашках
чайных.
И я ишу каких-то добрых слов,
Каких-то слов совсем необычайных.
Чтоб им сказать, что я не тот, не тот,
Каким они меня в Москве видали,
Что я другой. И кто из нас поймет,
Как раньше мы друг друга не узнали.
Еще кого-то будят и зовут.
— Пусть все придут, мы можем
потесниться.
Мы всех усадим, потому что тут —
Россия. А за дверью — заграница.
Приходит женщина совсем со сна,
На босу ногу туфли, и с гитарой,
И вот уже поет, поет она,
Начав с какой-то песни, с самой
старой.
Про дом, про степь, про снег, про
ямщика.
Она щемит и сердце рвет на части.
Но это ж наша, русская тоска,
А на чужбине и тоска, как счастье.
Лишь домом бы пахнуло, лишь бы
речь
Дохнула русской акающей лаской.
Скажи, ты будешь эту ночь беречь,
Как матерью рассказанную сказку?
Скажи, скажи, ты не забудешь их,
С кем ночь тебя свела своею волей?
Совсем родных тебе, совсем чужих
И русских, русских аж до слез, до
боли.
Ты ведь не будешь там, в Москве,
опять
Сухим и черствым, сердца не
остудишь.

Нет, обещай. Ты должен обещать.
— Скажи, не будешь? Ну, скажи, не
будешь?

Как знать — в Москве, быть может,
через год
Друг друга встретим мы кивком, как
прежде,

Скорей всего, что так, что ты
кивнешь,
И он кивнет. И вот конец надежде,
А все-таки сквозь старость и метель
Мелькнут в душе неясные картины:
Гитара, ночь и русская артель
Средь ледяного холода чужбины,
Германия.

СТИХИ МОЛОДЫХ

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ

РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

1

ДРУЗЬЯМ

На утрату нижется утрата,
Но такого позабыть нельзя.
Вечно живы в памяти ребята,
Фронтовые, кровные друзья.

К одному один. И каждый — лучше,
Заправила, весельчак, вожак.
Прикажи — и поразгонят тучи,
Прикажи — грозою освежат.

Я люблю их больше всех на свете,
Потому что вместе нас прожог
Самый горький и суровый ветер,
Ветер отступленья вдоль дорог.

Потому что только наши роты
В петлях окружений, взаперти —
Верили в крутые повороты,
Верили в обратные пути.

НА ЗИМНЕМ ПОЛУСТАНКЕ. 1941

С самой,
вот этой,
первой
строки,
Я даже опомниться не успеваю,
Как вокзальные сквозняки
Меня на каменный пол сбивают.
А на полу
ледяной нарост,
Примерзших окурков
тьма.
И в каждую шелку
сквозит
мороз —
Сорокоградусная зима...
Сорок градусов —
не пустяк.

В сорок
первом
году,
Когда подошвы,
ломаюсь,
хрустят
На станционном льду.
Когда под шинель
хоть до хрипа дыши,
Не выдуешь ни на грош,
И слышно, как о сукно шуршит,
Вздыбив мурашки,
дрожь...
Сорок
градусов
ниже нуля,

И жить на земле невозможно,
 Забыть, если
 что на западе есть земля,
 Где ртуть замерзает в Цельсии...
 А здесь вокзал
 от мороза звенит,—
 Звенят индевелые
 батареи,
 Солнце ползет в бесполезный зенит
 И никого
 не греет,
 Плащ-палатки в четыре наката...
 Коптилка поыхивает
 малокровно.
 Три дня эшелон
 ожидают ребята
 И дышат во сне неровно.
 И пар встает под прямым углом
 Паровозного пара вроде,
 И греют ребята друг друга теплом
 Тела, в котором тепло на исходе.
 А пар, достигнувши потолка,
 Крупными каплями
 застывает,
 И потолок становится,

как
 Булыжная мостовая.
 И больше лежать нам уже нельзя,
 И нету сил никаких,
 И кажется, будто бы здесь
 сквозят
 Все существующие сквозняки.
 Пляшет очередь за кипятком —
 Длинная, как товарный состав.
 Уголь, шурованный ржавым штыком,
 Дотлел, и чугунная печь пуста.
 Сосед-одессит наклонился ко мне,
 Он шепчет горячее и простое:
 «Немцу сегодня, браток,
 холодней,—
 Овчинка выделки стоить»
 И мы лежим и скрипим зубами,
 Царапаем ледяной нарост,
 Мы замерзаем, но не прозябаем,
 И нас не берет мороз.

ЛАДОЖСКИЙ ЛЕД

Страничный путь
 На последней —
 тридцатой
 версте

Ничего не сулит хорошего.
 Под моими ногами
 устало
 хрустеть

Ледяное,
 ломкое
 крошево.
 Страшный путь!
 Ты в блокаду меня ведешь.
 Только небо с тобой,—
 над тобой —
 высоко.
 И нет на тебе
 никаких одеж:
 Гол,
 как
 сокбл.
 Страшный путь!
 Ты на пятой своей версте
 Потерял для меня конец,
 И ветер устал
 над тобой свистеть
 И устал
 грохотать
 свинец...
 — Почему не проходит над Ладогой
 мост?! —
 Нам подошвы
 не в мочь
 ото льда
 отрывать.
 Сумасшедшие мысли
 буравят
 мозг:

Почему на льду
 не растет трава?!
 Самый страшный путь
 из моих путей!—
 На двадцатой версте
 как я мог идти!—
 Шли навстречу из города
 сотни
 детей.
 Сотни детей!.. —
 Замерзали
 в пути.
 Одинокие дети
 на взорванном льду
 Эту теплую смерть
 распознать не могли они сами,
 И смотрели на падающую звезду
 Непонимающими глазами...

 Мне в атаках не надобно
 слова — «вперед»,
 Под каким бы нам ни бывать огнем —
 У меня в зрачках
 черный
 ладожский
 лед,
 Ленинградские дети
 лежат
 на нем.

2



Весной, как на последнем рубеже,
 Давно былое повторить подробно
 Мне хочется. Какой-то древний,
 дробный
 Дождь. Женщину, которой нет уже,
 Какую-то строжу из тех тетрадей,
 Которые давно забыты мной,
 Девчонку в легком на ветру наряде
 Под густо проливной голубизной.
 Какой-то крик в ночи на перекрестке,
 Сумевший вдруг всю кровь
 разволновать,

Картин дикобразные наброски,
 Которых больше мне не рисовать.
 Совсем случайно виданные вещи,—
 (Змей над рекой. Орлиное гнездо),
 Счастливый сон — неимоверно вещий,
 Над Волгой — встречу скорых
 поездов
 И прочее такое повторить мне
 Так хочется, что каждую весну
 Я начинаю жить в том прошлом
 ритме
 Совсем не замечая — новизну.

После боя в замершем Берлине,
В тишине почти что гробовой,
Подорвался на пехотной мине
Русский пехотинец-рядовой.

Я припомнил все свои походы,
Все мои мытарства на войне,
И впервые за четыре года
Почему-то стало страшно мне.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Густая
всклоченная гроза
с грохотом вваливается в город.
В окна,
двери,
в уши,
в глаза.
Пешеходу, застигнутому врасплох,
холодные пальцы кладет за ворот,
и город от первого грома оглох.
И растерявшийся офицер
(с фронта четыре недели назад),
встав с тротуара — ликует:
«Цел!!!»
Не понимая, что это гроза.
Ему в лицо ударяет вода,
Осеняюще холодна.
И только тогда,

только тогда
он чувствует вдруг, что прошла
война.

И вспоминает, как босиком
Кубарем по тротуарной бровке,
Через лужи — бросок за броском —
Мчался в грозу вот по этой Петровке.
И позабыв про чины и годы,
Легкий и молодой,
Мчится, разбрызгивая воду,
Захлестываясь водой.

Он слушает —
ливень по трубам сопит,
струи выхлестывают мостовую...
Он пьет, как стоградусный, дикий
спирт,

Мирную, пьяную, дождевую
влагу...

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Бродить по вечерам,
От света жмуриться.
Искать повсюду мирные приметы.
Смотреть — как на распаханые
улицы,
Сгорая в воздухе, пикируют ракеты.
Курить за папиросой папиросу,
От фронтовой махорки отвыкать,
Смотреть, как мирно, медленно и
косо
Пржектор подпирает облака

Дышать сплошным спокойствием
погоды,
Смотреть в чужие окна без стыда
И вспоминать недавние походы —
Дороги,
страны,
реки,
города.
Четыре года лягут на ладони
Простором гор,
лесов,
морей,
долин —

Можайск и Франкфурт,
Одесс и Задонье,
Одесса, Подмосковье и Берлин.

Проверь,
Пересмотри все поминутно,
По километрам
Вспомни рубежи,
Жестокий ветер —
Встречный и попутный,
Воронки,
 рвы,
 траншеи,
 блиндажи.

Как шли чужие танки,
Завывая,
Отменными бензинами разя,

И как пилотки с головы срывая,
Под гусеницы падали друзья,
Зажав гранаты мокрыми руками...
На Театральной площади светло.
Гремит салют.
Дрожит кремлевский камень.
В открытых окнах дребезжит стекло.
Бьет тысяча орудий.
Вспышка.
Грохот.
Счастливых слез нельзя перебороть.
И в этот миг
Великая эпоха —
Эпоха Мира
Обретает
Плоть.

ВИКТОР ГОНЧАРОВ

ЛИРИКА

* * *

Лучше стинуть, чем вечно чахнуть —
Горы горя достигли хмар,
И не русским бензином пахнет
Окровавленный Краснодар.

Над станциями ветер злится,
Хаты брошенные горят.

Мой отряд среди гор гнезвился —
Сотни две боевых ребят.

Кони были... какие кони!
Нынче, видно, таких уж нет.
Мой, бывало, земли не тронет,
Не оставит подковный след.

Под седлом, только мне покорный,
Вытанцовывает, звеня.
Он, как ворон, как ворон черный
По Кубани носил меня.

Ничего мне было не надо:
Жизнью слишком не дорожил.
Мы взрывали мосты и склады,
Жгли машины и гаражи.

И в годах был. Два взрослых сына
Партизанили у меня.
Только стебель цветущий сгинул,
И стоит под дождем стерня.

Той стерне вспоминать осталось
Шум весенний да звон копыт
И смотреть, как подходит старость,
Броши черные серебрят.

Часто-часто стоят заставы,
Ремет уши колесный визг.

И тоннели глотают составы
Краснодар — Новороссийск.

Но не всем проходить составам,
Двадцать пятый не должен пройги
Лезет смерть, шелестя по травам
И заставам состав не спасти.

Все по правилам разыграли.
Партизанский короткий бой.
Только вниз покатишься гравий,
Только ахнул и сел часовой.

А потом заложили мины...
Тает прямо в реку луна,
Где-то мост выгибает спину,
Черный, огненный сатана.

Где-то поезд считает стыки,
Столько стыков считать — до слез,
И единственный глаз на выкат
Держит бешеный паровоз.

Не успели вложить запалы,
Но не должен состав пройти,
И взлетают, как спички, шпалы
С перекошенного пути.

Подорвали себя ребята...
Мне не слушать, а им не петь,
Это я им вручил гранаты,
Это я их послал на смерть.

Налетел! На дыбы с испуга
Стал чудовище-паровоз.
Как быки, вагоны друг на друга.

И под откос.
Все смешалось

Грохалось
И взрывалось,
А потом горели вагоны.
Утро бледное начиналось,
Утро падало на затоны.
Утро трогало солнцем зябким
Не остывшее место боя.
Двое было их. На полянке
Хоронили мы их обоих.

Мне теперь никуда не спрятать
Ужас смертью открытых глаз —
Всюду ходят за мной ребята,
Снова просят отдать приказ.

Вот они — два погибших сына!
Тает прямо в реку луна...
Где-то мост выгибает спину,
Черный, бешеный

сатана!

* * *

Больной, как будто бы гранату,
Бутылку бромную берет,
И снова сонную палату
Карежит хрипкое «Вперед!»
Он все идет в свою атаку,
Он все зовет друзей с собой...
Наверно, был хороший бой.

Хирург и тот чуть-чуть не плакал,
И чтоб избавиться от слез,
Какой-то бред о бреде нес.
Когда же вечер языкатый
Оближет пыльную панель,
Кого-то принесут в палату,
На ту же самую постель.

* * *

А все случилось очень просто...
Открылась дверь, и мне навстречу —
Девчурка маленького роста,
Девчурка — остренькие плечи...
И котелок упал на камни...
Четыре с лишним дома не был...

А дочка, разведя руками,
Сказала: «Дядя, нету хлеба».

А я ее схватил — и к звездам.
И целовал в кусочки неба,
Ведь это я такую создал.
Четыре с лишним дома не был!

* * *

Ветер слезно с кем-то спорит,
Даль туманами покрыта,
Завтра в море, завтра в море
Отойдет мое корыто.
Утлое, побито бурей,
Скромно дышит на причале.
В нем давно мечты уснули,
В нем давно одни печали.
Это ничего не значит!
Перед всей пространной далью

Я на нем большую мачту
Из мечты своей поставлю.
Мы, бывало, все умели,
Нам ли хныкать с ним на пару?
Тучами замажу щели,
Небо вырежу на парус.

Мне закат подарит весла,
Месяц будет лучший якорь,
Ничего, что так пришлось,
Ничего, что ветер плакал!

АЛЕКСЕЙ НЕДОГОНОВ
ВОЕННЫЕ СТИХИ

БАЛЛАДА

Плацдарм за Изюмом
В земле молчал.
На командном пункте
Дежурный боец
Охрипшим голосом
В трубку кричал:
— Днепр! Днепр!
Говорит Донец!

Три дня не смыкали
Живые глаз;
На переднем
Спали одни мертвецы.
Земля как будто вся
Поднялась —
В Днепропетровск
Вступили бойцы.

...Зима. Каганец.
В блиндаже серо.
Зуммер не слышен
Сквозь вьюги свист,
— Днестр! Днестр!
Говорит Днепр!
(Тот же самый телефонист).

По горло в грязь
Наступенье шло.
И вот —
На солдатский сон и штыки
Сады Заднепровья,
Сквозь звезд тепло,
Уронили майские лепестки.

В знойный поход
Шел батальон:
Был в движении
Передний край.

Телефонист кричал в микрофон:
— Дунай! Дунай!
Дайте Дунай!
...У Дунайского гирла
Я видел его,
В плавнях Тульчи,
Над мертвой водой.
Немец
Железом целил в него,—
Адская кузня ковала бой.

Бойцу было радостно
И тяжело
От ревущих
Рядом с ним батарей,
Но он во все горло,
Чорту на злс,
Кричал в микрофон:
— Вызываю Рейн!
Срочно Рейн! Время не ждет!..

Рассвет занимался.
Потом с утра —
Сильное, хриплое слово —
Вперед!
И до Карпат
Покагилось «Урал»...

Я знал: до черных
Берлинских ворот,
Этапами тяжких боев речных,
Сквозь шнур,
Сквозь юность и кровь дойдет
Эта — ведущая нас вперед —
Победная молния позывных!

Румыния

ГИЛЬЗА

Я увидел ее на столе знакомого командира полка с врезанной на бронзе фамилией ИВАНОВ, вот и написал эти стихи.

Ге формовщик Иванов
В печи плавильной отливал,
А шлифовальщик Иванов
Вытачивал и шлифовал.

Беднягу график сна лишил.
В конце концов,
В кругу забот,
Ее рождение завершил
Цех окончательных работ.

Набили порохом ее,
Ввинтили капсуль и заряд.
В подразделение твое
Пришел готовенький снаряд.

Сержант,
Замковый Иванов,
Вбил в ствол снаряд,
Замок отжал,—
И, потрясенный до основ,
Мир в панораме задрожал.

Был немец громом в нору вжат;
Врага железный жар знобил:
По бронеколпакам
Сержант
Во всю ивановскую бил.

А после боя —
В пыльный зной —

Связной
Ефрейтор Иванов
Всклянь гильзу напоил водой,
Украшил кашкой, резедой —
Всей радугою молодой
Военно-полевых цветов.

Принес в блиндаж
И в полумгле
На стол поставил у окна
И вот сейчас стоит она
У офицера на столе.

(Ее,
Как бы в разгар боев,
Из жарких рук формовщика
С любовью принял Иванов —
Пехотный командир полка).
И освещает каганец
Цветов ликующий венец,
Непокоренное литье;
Шесть букв фамилии ее.

.....
Мне думается,
Что грехи
Не всем прощают в дни войны...
Но ведь без выдумки стихи —
Ночное небо без луны.

г. София.

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Усталая, но гордая осанка.
И узелок дорожный за спиной.
Гадала мне гречанка-сербиянка
В Саратове на пристани речной.

Позвякивали бедные мониста
На запыленном рубище ее.
Она лгала. Но выходило чисто.
Я слушал про свое житье-бытье.

Я делал вид, что понимаю много,
Хотя она мне верила с трудом.
Тут было все: и дальняя дорога,
И беспокойство, и казенный дом.

Тут были встречи, слезы и свиданья,
И радости, и горечь женских мук —
Все, без чего немислимо гаданье
В такие дни на пристанях разлук.

И казалось, прихлынули в память
года
Величавых баталий, сраженья и
войны;
И казалось солдатам, что здесь
навсегда
Утвердилась свобода:
На Шипке спокойно.
На родных языках говорили они,
Здесь на бранной земле породнившись
навсегда...
Может быть, повторилась в
сентябрьские дни
Встреча та, что была в девятнадцатом
веке?!
...Гул мотора до них донесли ветерки.
И болгарский солдат обратился с
улыбкой:
— Это русские. Наши штурмовики!..

Самолеты, как слава, летели над
Шипкой.
На крутых виражах проходили они:
Словно почесть в тот миг
Отдавали пред боем
Храбрым воинам русско-турецкой
войны —
И болгарским дружинам, и русским
героям.
Передать ли восторг двух старинных
друзей
Слабым светом познаний и тщетных
усилий?!
Эта встреча, достойная кисти твоей,
Ждет тебя, молодой баталист наших
дней, —
Живописец войны, Верещагин
Василий!

г. Тернов.

СЛОВА ГОВОРЯТ...

Солдат утоляет жажду
После боев труда.
По-русски и по-болгарски
Мы говорим — вода.
Разрежь на троих буханку,
Чтоб воин в теле окреп...
По-русски и по-болгарски
Мы произносим — хлеб.
Кроме железных нервов
Нам в помощь железо дано:
По-русски и по-болгарски
Пушка — слово одно.
Когда мы идем в атаку —
Над боем разносят ветра

По-русски и по-болгарски
Воинственный клич — ура!
Мы доживем до победы.
И встретит нас торжество;
По-русски и по-болгарски
Смысл одинаков его.
Мы в мирный час ликований
Поставим на стол вино:
По-русски и по-болгарски
Равно пьянит оно!
После могучих походов
Пусть облетит весь мир
Двух славянских народов
Победоносный пир!
г. Добрич

Л Ю Д И И Ф А К Т Ы

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

ВОЗВРАЩЕНИЕ МИРА

Они вернулись на свои места, на Аничков мост, теплой белой ночью второго июня.

Вместе с неубывавшей толпой горожан я стояла и смотрела, как поднимали одну из бронзовых групп на высокий, гранитный выщербленный осколками постамент: это была как раз та статуя, где над нагим, поверженным наземь юношей высоко взвились тяжелые копыта озверевшего коня.

Мы стояли долго, мерцала белая ночь, статуя поднималась медленно и вдруг в какой-то момент — так и врезалась в нежисйшее, бледнозеленоватое небо всем своим черным, бурным, трагическим силуэтом! И мы ахнули, вздрогнули все, и даже озноб пробежал по телу: так прекрасно явилась в небе скульптура, так пронзительно вспомнился сорок первый год и так остро, еще раз ощутили мы мир, победу.

Нет ничего страшнее и печальнее памятника, сошедшего с места. А ведь осенью сорок первого года этот поверженный бронзовый юноша лежал прямо на тротуаре, и бешеные копыта его лошади висели над самыми головами прохожих. И на другой стороне моста юноша, уже усмиривший коня, тоже стоял на тротуаре, держа лошадь под уздцы; он был лишь немного выше человеческого роста, он как бы шел рядом со всеми, торопясь увести своего коня отсюда.

Сошедшие с высоких своих постаментов, стоящие прямо на земле, разбредающиеся в разные стороны, — они уже не скульптурой были, а почти живыми людьми, и страшно, наглядно олицетворяли собой бедствие, такое грозное, которое даже их, тысячепудовых, неподвижных, огромных сдуло с многолетних мест...

Долго стояли в ту осень на тротуарах наши кони, медленно, уже слабеющими руками тащили их ленинградцы к саду Дворца пионеров, осторожно погружали в ямы, долгие годы стояли они глубоко под землей, а появились на своих местах — все четыре — за одну ночь! Овеянные новыми воспоминаниями, полные новым, особым, военным смыслом, старинные клодтовские кони стали вновь украшением города. И много дней подряд каждый ленинградец, проходя по Аничкову мосту, замедлял шаги, пристально, с волнением и любовью глядел на коней и думал: «Стоят! На месте стоят, как в мирное время».

И сразу радостно вздрагивало сердце: почему же «как», ведь и в самом деле — сейчас мир, настоящее мирное время!

...В ту ночь, когда клодтовские кони возвращались на старые свои места, я шла к себе мимо дома, в котором жила много лет до войны и в первый год войны, пока блокада не выжила меня оттуда. Поворачивая с Фонтанки на Пролетарский переулок, где стоял мой старый дом, я еще раз оглянулась на прекрасный силуэт коня и укротителя и вдруг еще раз вспомнила сорок первый, уже совсем по-своему...

Я вспомнила одну октябрьскую ночь, проведенную в кочегарке этого дома. Кочегарка была маленькая, тесная, вся в каких-то колесах, и колесиках, в сплетениях труб, в рычагах, с двумя черными котлами. Красноватая, воспаленная лампочка свешивалась с потолка, обливая все это сумрачным, тревожным светом; широкий, низкий чурбан, похожий на плаху, стоял перед котлами, и белая, тощая, как скелет, грязная кошка неподвижно сидела на этом чурбане и глядела безумными зелеными глазами; котлы были еле-еле тепленькими, — выходил уже последний уголь, было душно, пахло землей и сырým камнем. Здесь у нас было что-то вроде КП нашей группы самозащиты и места отдыха для дежурных бойцов. Немец в октябре бомбил нас непрерывно и особенно свирепо по ночам, и в ту ночь была уже чуть ли ни пятая бомбежка. Нач группы самозащиты Н. Н. Фомин, инженер А. В. Смирнов, я и еще два товарища только что сменились с дежурства и приплелись сюда измученные бессонницей, страхом и голодом, и сами не знали, что делать: то ли итти немного отдохнуть по квартирам, то ли оставаться здесь.

— Давайте останемся здесь, — предложил Смирнов, которого мы за непомерно высокий рост и детские голубые глаза называли «дядя Степа», по Михалкову. — Все-таки здесь не так слышно, надо немножко поберечь нервы...

Я раздвинула дачный шезлонг, принесенный сюда на предмет отдыха, — великолепный, отполированный шезлонг, от которого так и веяло жарким летом, и солнечными бликами в тени, и взморьем, — Фомин сел на маленький круглый стульчик, закрыл глаза и обнял обеими руками чуть теплый котел; дядя Степа растянул под самым потолком между двух котлов гамак, тоже чудесный, легкий, напоминающий о даче... Но гамак был слишком короткий для дяди Степы, так что ему пришлось сложиться вдвое, как деревянному аршину, двое других бросили какой-то брезент на пол возле деревянной плахи и пристроились — сев на пол, положили на нее головы.

От усталости, от тяжелой внутренней опустошенности, от страшного напряжения — весь вечер и половину ночи мы видели с крыши, как горел и рушился кругом нас Ленинград, — спать никто не мог, да к тому же все было слышно, даже вой самолета вверху, и свист бомбы и взрывы, и белая кошка начинала тогда вопить нехорошим, не кошачьим голосом и, тараща зеленые глаза, царапала вытянутыми лапами землю. Надо признаться, тут было куда страшней, чем наверху, и тоскливее...

«Если есть ад, — вяло думала я, — то он, конечно, такой, как эта кочегарка. Эти котлы, колеса, на которых тянут жилы, этот дьявольский кот, оборотень и красноватый свет и, главное — как тут — бесконечность

страдания, бессрочность его. И не физического, а нравственного... Никакого конца, никогда — ни смерти, ни отдыха, ни жизни... Пытка страхом... и еще эта кошка чудовищная... Выбросить бы ее надо...»

— Бомба идет,— сказал Фомин, не открывая глаз, и плотнее обнял котел.

— Здесь же запрещено говорить о бомбах,— кротко сказал из своего гамака дядя Степа.— Давайте о другом, если не спится... Вы ведете дневник, Николай Никифорович?

— Вот еще,— пробурчал Фомин.— К чему это?

— А я веду,— сказал Смирнов медленно.— Сейчас я слышал, почти все ленинградцы ведут дневники... Но, наверно, у меня самый странный дневник, конечно... Я совсем не записываю в нем личных переживаний. Но, например, я тщательно отмечаю различные исчезновения... Я записал день, когда зачехлили купол Исакия и Адмиралтейскую иглу... И другое... И вот, наверно, никто в городе, кроме меня, не записал, что сегодня, на сто восьмой день войны, с Аничкова моста исчезли клодтовские кони...

— И так и отсчитываете,— на который день войны — что исчезает? — заинтересовался один из товарищей, поднимая голову с плахи.— А зачем?

— Не знаю сам,— грустно ответил дядя Степа.— Я же сказал, что не анализирую и не записываю личных переживаний...— И, помолчав, добавил:— Может быть, я надеюсь, что удастся записать дни, когда это начнет возвращаться...

Из всех, кто был в ту ночь в кочегарке, в живых осталась только я и, может быть, А. В. Смирнов. Я говорю «может быть», потому что видела его в апреле сорок второго года в очень плохом состоянии, а потом он не встречался мне, не писал, квартира его теперь заселена другими... Первым умер Н. Н. Фомин, упав по дороге на работу, на Литейном мосту. Потом, еще тяжелей,— погибли другие.

А клодтовские кони вернулись на свои места на четырнадцатый день мира. И сегодня, когда я пишу об этом, идет уже третий месяц мира, сегодня его шестьдесят восьмой день.

Мы все до сих пор отсчитываем дни с девятого мая, как четыре года назад отсчитывали дни с 22 июня. Но ныне первыми днями мира мы датируем события, полные радости, потому что первые дни мира — это прежде всего дни великих возвращений. Возвращен мир и вместе с ним начинает возвращаться все, чем он прекрасен.

На тридцать шестой день мира открылся Екатерининский парк в Пушкине. Десятки тысяч ленинградцев вновь приехали сюда только за тем, чтобы бродить по аллеям, лежать на траве, смотреть на могучие деревья и буйно разросшиеся за годы войны кустарники. Деревья и земля вновь возвращаются к человеку — не за тем, чтобы замаскировать его, скрывать в траншеях и ямах, а только за тем, чтобы радовать и утешать его, как когда-то... Нет, еще любовней и заботливей, чем тогда: ведь мы так истосковались по природе за эти годы. Еще открыт Александровский парк, — он не до конца разминирован, — но и Екатерининском уже давно сравняли с землей немецкие кладбища, и юный бронзовый Пушкин вновь мечтает на своей скамье в Лицейском садике, и воспетая им «Молочница», извлеченная из земли, как прежде,

сидит на камне... Правда, куда-то пропала разбитая урна, и струя, изливавшаяся из нее, ныне иссякла; но ведь поэт назвал ее «вечной струей» — скоро она заблещет вновь, скоро и она вернется.

На пятидесятый день мира в Ленинграде были подняты из земли статуи Летнего сада. Их мыли горячей водой, мочалкой и мылом, прежде чем расставить по местам, и они стоят теперь празднично белые, какие-то особенно нарядные, облитые солнцем и золотыми бликами Летнего сада.

У Анны Ахматовой есть стихи о том, как укрывали эти статуи ленинградцы в сорок первом году, стихи, обращенные к статуе «Ночь»:

Ноченька!
В звездном покрывале,
В траурных маках с бесеонной совой.
Доченька!
Как мы тебя укрывали
Свежей садовой землей.
Пусты теперь Дионисовы чаши.
Заплаканы взоры любви.
Это проходят над городом нашим
Страшные сестры твои.

Но страшные сестры, проходившие над Ленинградом, — в пламени, со смертным свистом и воем, полные гибели и ужаса, — отошли теперь от нашего города. И взоры любви уже не будут заплаканы из-за них.

Вот идут по дорожке Летнего сада молодой лейтенант и девушка, — и по тому, как прижимает он к себе ее руку, как доверчиво и преданно поднимает она лицо, глядя ему в глаза, — по всем безошибочным, одинаковым, вечным, как мир, признакам видно, что это влюбленные. Не разная рук, они ходят от одной статуи к другой, вместе наклоняются и читают надписи.

— «Ро-мон-на», — медленно читает лейтенант и, хмурясь, пожимая плечами, говорит: — Не знаю, кто такая. Надо почитать...

Потом они глядят друг на друга и хохочут. У него на груди медаль «За оборону Ленинграда». Он, видимо, из тех, кто прибыл из недр России на защиту города и защищал его, и защитил и вот, только теперь, увидел этот город вместе с любимой девушкой. Они откровенно, бесконечно вызывающе счастливы. Они были бы счастливы, конечно, и шестьдесят восемь — семьдесят дней тому назад, если бы ходили так же, прижавшись друг к другу, по летней аллее прекрасного сада, — но сейчас нет ничего такого, что, как тогда, могло бы искромсать это счастье: лейтенанта уже не убьют, не искалечат, она не станет вдовой, горе не скорчит ее, не состарит, — ведь войны нет, она кончилась нашей победой, — мир. И еще прошло только шестьдесят восемь дней мира, — а впереди у них, этих счастливых, и у всех, всех нас сотни дней, годы мира. И уже скоро мы перестанем считать на дни и будем считать мир на годы, а он будет длиться и длиться...

...Около трех месяцев назад нам временами казалось, что едва только кончится война, как сразу, на другой же день, круто, неузнаваемо изменится весь наш быт, вся повседневная жизнь. Мы видим теперь — это не так, и это не могло быть так. Но мы узнали за эти

68 дней и другое — а именно то, что Победа не исчерпалась днем девятого мая, а только началась с него. Сталин сказал в тот день: «Начался период мирного развития». Мы знаем уже теперь, что победа будет расти, ветвиться, приносить плоды, как могучая яблоня, только гораздо быстрее. Уже сейчас, день ото дня, она становится все щедрее, ибо каждый новый день мира приносит новые дары.

Мне недаром, новое, захотелось начать с клодтовских коней. Вот так же, как поднимали на высокий пьедестал этого бронзового юношу, усмирившего дикого коня, — так же начали мы поднимать свою мирную жизнь, и будем поднимать ее бережно, с великим трудом и усердием, с большим напряжением сил, вершок за вершком, шаг за шагом, пока она вдруг, как бы внезапно не заблещет со своей вершины на радость всем нам, ее поднимавшим.

И мы будем вспоминать тогда первые дни мира с таким же увлечением, изумлением и гордостью, как, например, первые дни обороны Ленинграда, но без привкуса горечи, с которым невольно вспоминается та трагическая осень, а с чувством... с чувством, еще неизвестным нам, но, наверно, удивительно хорошим и светлым.

Как хорошо, если Александр Васильевич Смирнов, инженер и поэт, михалковский «дядя Степа», — жив и живет в Ленинграде... А если он жив — он, несомненно, отмечает в своем дневнике великое возрождение города и его жизни. Потому что, наверняка, это приятнее, чем запись исчезновений.

И примерно так же, как теперь, мы говорим: «а, помните, как мы строили баррикады? Как собирали бутылки в жактах — отражать танки? Как бомбили нас 19 сентября», — так же будем говорить мы о тех днях, которые сейчас переживаем...

Мы скажем наверно:

— А помните, что в июне 1945-го весь Невский был в лесах, — и, что удивительно — ведь работали-то одни женщины! И стенки клали, и штукатурили, и стеклили, и красили — сплошь женщины. Это, как в сорок первом, на оборонных вокруг Ленинграда... Тоже ведь были больше всего женщины...

И подобно тому как вспоминают наши производственники о том, как в начале войны учились они на табачной фабрике производить специальные гранаты, разрывающие колючую проволоку, так будут вспоминать они, как переходили с гранат на мирное производство.

Мы обносились за время войны, устали от нехваток самого простого и мелкого. Нам нечего стыдиться этого, но как хорошо, что с первых же дней мира ленинградские фабрики и заводы стали готовиться к тому, чтобы как можно скорее дать людям поток вещей, насущных благ, необходимых для их обычной мирной жизни...

И не может быть иначе, когда возвращен мир и все возвращается к человеку: природа, отдых, счастливая любовь, красота и величие годов, и человек возвращается к человеку...

В первые дни мира, когда вновь взлетели клодтовские кони на постаменты Аничкова моста, когда в дремучем Екатерининском парке вылавливали последние мины, а «Треугольник» изготовил первые партии галош, мячей и проч., когда десятки тысяч новых деревьев было высажено в садах Ленинграда и первые люльки маляров закачались на фаса-

дах домов,— в эти дни начали прибывать в Ленинград первые эшелоны с детьми, эвакуированными в начале войны.

С восторгом въезжали маленькие ленинградцы в родной город, хотя многие из них уже не помнили его, с трепетом и любовью встречали их ленинградские матери и родственники, хотя и не все узнавали своих детей сразу...

Я запомнила одну мамашу, которая, стоя перед группой ребятишек и глядя то на одного, то на другого, растерянно восклицала:

— Да где ж моя Ниночка? Ниночка-то моя где?

А длинноногая русая девочка почти обиженно кричала:

— Мамочка, да вот я! Да вот же я! Это я, я!

Ниночку увозили из Ленинграда, когда ей было всего пять лет, а сейчас ей шел уже десятый. Но матери, прибежавшей на вокзал, она все еще представлялась до этой минуты очень маленькой, очень пухлой, совсем картавой, и мать не могла сразу узнать ее, ставшую целым сознательным человеком за годы войны и разлуки.

— Да ведь ты совсем большая,— говорила мать, плача и обнимая дочку,— но ты совсем другая стала без меня...

И ей было немного грустно, что той Ниночки, которую она отправляла, которую так хорошо знала и любила, нет уже, она не встретила, не нашла ее, а есть другая, новая, взрослая девочка, ее дочка, умненькая, милая, напоминающая прежнюю Ниночку,— и она уже привыкала к ней, и гордилась ею и любила по-новому.

О, как долго не было слышно в нашем городе детских голосов. Всех, приезжающих в Ленинград, поражало это. Но вот они звенят под моими окнами, во дворе, они кричат — «окружай его, окружай», они все еще играют в войну, в блокаду, кто-то вопит: «обстрел» и громко хлопает крышкой мусорного ящика... Действительно, похоже! Недаром мгновенно я слышу громкий крик нашей дворничихи тети Пани:

— А ну, перестать хлопать! Чтоб не было мне этого! Наподаю!.. И так же громко объясняет кому-то:

— Я этих стуков слышать не могу! До чего удивительно,— всю блокаду на посту, вот в этой подворотне выстояла,— ни бомбов, ни снарядов — ничего не боялась. А теперь — шина лопнет или стукнет вот так — прямо в дрожь кидает со страху! Так и чудится: обстрел! И что за чудеса со мной — понять не могу.

А шесть дней назад, на шестидесятый день мира мы встречали наших гвардейцев, проходящих через город.

Это были солдаты и офицеры дивизий, которые стояли вместе с нами в кольце всю блокаду, которые рвали блокаду в сорок третьем году, в огненном районе Шлиссельбурга, которые осенью сорок третьего заняли знаменитые, тяжкие Синявинские высотки, освободив тем самым от вражеского обстрела единственную железнодорожную нитку, связывающую нас со страной,— это были те дивизии, которые ликвидировали проклятую блокаду в январе сорок четвертого, брали Ропшу, Красное Село, Петергоф, Дудергоф...

Накануне вечером дворничиха наша, сварливая и нервная тетя Пани, пришла ко мне с подписным листом: в нашем доме, как в тысячах других домов, собирали деньги на подарки гвардейцам. Лицо у тети Пани было доброе, точно после бани в субботу, и голова повязана

чистым ярким платком, и на грудь повешена начищенная медаль «За оборону Ленинграда»,—тетя Паня накануне уже вступила в праздник встречи, потому и вырядилась.

А рано утром 8 июля в домах никого не осталось, все ленинградцы, от мала до стара, вышли на улицы. Все шли. И те, кто ожидал увидеть среди проходящих гвардейцев своих родных, близких и знакомых, и те, кто никого уже не ждал с войны, совсем никого.

...Вот стоит около Триумфальной арки на улице Стачек аккуратная старушка в пестром, «веселеньком» ситчике, в старинном кружевном шарфе на голове... В носовом платке у нее завернут гостинец — «маленькая», в руке — серебряная стопочка-чарка...

— Ты кого, бабушка, встречаешь?

— Я? Я, милый, всех, любя, встречаю... Всех!

— А твои где же?

— А мои, милый, еще за революцию, в гражданскую на фронтах полегли...

Стоит девочка лет восьми с огромным, любовно собранным букетом: в середине сияющие ромашки, они окружены синим кольцом васильков, потом идут малиновые, горящие как огоньки гвоздики, и какой-то свежей, нежной травкой обрамлен весь букет. И сама девочка похожа на ромашку — в белом платье, с ярко-золотистой головой, с солнечным венчиком — бликом на самой макушке.

— Ты папе букет принесла, девочка, да? Сразу видно, что папе! Ну-ка, ну-ка,— как, как зовут?

Она поднимает на расторопного, веселого репортера круглые глаза и говорит негромко:

— Нет... Мой папа в первые дни войны убит...

И, видя, как пробегает по лицу взрослого смущение и боль, тут же поясняет:

— Это я чужому папе отдам... Чьему-нибудь папе, понимаете?

— Понимаем, дочка.

...И хотя многие ленинградцы никого не ждали с этими дивизиями, и хотя не было среди них ни одного, кто бы не утратил в этой войне близкого человека,—я никого не заметила в трауре или нарочито темных одеждах,—нет, были в лучших своих светлых и пестрых платьях, и все — с цветами. Правда, не было пышных, богатых цветов — роз, или георгин, или лилий,—были простые полевые цветы, а у многих просто охапки зеленых ветвей — клена, дуба, даже березы. Но ни одного человека без цветов или листьев не было.

Мне казалось иногда еще на войне, что победители пойдут во всю ширину наших улиц, гулко печатая шаг, чтоб отдавался он как гром, как обвал,— шаг победителей, пойдут в сверкании и блеске, в оглушающем гуле медных сияющих оркестров, стройными, грозными рядами... Но так прошли они по Дворцовой, где был парад, и через площади, где были митинги, а по улицам они шли совсем иначе, и прохождение это было таким, которое останется в сердце до самой смерти, в числе его лучших сокровищ...

Мне довелось встречать 30-ю гвардейскую дивизию на Литейном, позле Невы, у моста.

Они не печатали шага, не шли во всю улицу,—они шли по трамвайным путям, по-грос, иногда даже по-двое в ряд, а мы, сбжав с тротуаров, стояли так близко от них, что старухи гладили плечи проходящим гвардейцам, и мы пожимали им руки, кидали наши ромашки и шишеник, дубовые и кленовые листья прямо под пыльные сапоги их, и вкладывали им прямо в ладони чистые, прохладные платки, приготовленные для них, и они тут же утирали ими разгоряченные свои лица, а мы совали им в руки «эскимо», папиросы, шоколад, а женщины постарше — даже «маленькую» в карманы, и мы то неистово рукоплескали и что-то кричали, то молча, со слезами, обнимали и целовали их.

А они шли мимо нас очень усталые, в тяжелых пыльных касках, их лица, озаренные смущенной улыбкой, были темнокрасными от жаги и жары, мокрые, потемневшие от пота гимнастерки пестрели множеством нашивок ранений и множеством орденов и медалей, и медали внятно и тихо звенели при каждом шаге. Они не шли по улицам сомкнутым, стройным строем, один,—нет, многие из них — шли под руку с женами, или невестами, или знакомыми, а то и незнакомыми — просто из толпы вышедшими девушками, иные несли на руках маленьких своих ребятшек, встретивших их, а ребята постарше — свои и чужие — семенили рядом или бежали целыми стаями перед батальонами, и несметное количество мальчишек сидело на стволах огромных орудий, как птицы, и штатские с нашивками ранений бок о бок шли с гвардейцами, оживленно беседуя,— боевые друзья их, наверно.

И, глядя на усталые, обгоревшие лица гвардейцев, на их жен, детишек, девушек, друзей и матерей, шагающих рядом с ними, глядя на всех, кто тянул к бойцам руки, с лаской, с цветком, с подарком,—мы поняли и по себе ощутили, что это не только просто одна гвардейская дивизия,—это народ возвращается с войны. Уставший после многолетних кровавых битв, победивший страшного и сильного врага, ликующий и ничего не забывший, в пыли, в поту, в ранах, в слезах и великой славе — могучий, добрый, дружный, русский народ возвращается с войны — справедливой и победоносной.

И было — ощущаемое всеми — особое величие в том, что этот народ, возвращаясь с войны, идет по улицам Ленинграда,—города, принявшего несказанные ратные муки и труды, города титанической красоты, где нет ни одной пяди асфальта, не политой кровью защитников, и где нет в этот день мертвых, но есть только живые: недаром же дети, и жены, и матери погибших пошли в этот день не к могилам, а вышли встречать живых, как родных, вышли в праздничных платьях, с цветами и ветками в руках.

День 8 июля — шестьдесят второй день мира,— был в Ленинграде днем истинного народного торжества, и было это торжество исполнено небывалым теплом, было это торжество не грозно ослепительным, а по-русски сердечным, трогательным, где высокая печаль и высокое счастье сливались в единый, мощный и добрый свет, до самых глубин озаряющий душу.

Мир возвращается к нам и мы — к миру. Уже шестьдесят восемь дней мира прожили мы. Это мало и это — много. Наверное, опыт первых дней мира так же интенсивен, богат и стремителен, как опыт первых дней войны. Мы узнали за эти дни, что возвращение — иначе еще

говорят — восстановление, возрождение мира,— это большой праздник и большой неспражничныи труд. Мы знаем так же, что ничто не вернется к нам точно таким, как было до войны, ни дети, ни чувства, ни даже неподвижные памятники. Мы живем еще как бы на рассвете, на раннем утре мира, отсчитывая дни со дня победы, мы знаем, что победа будет разгораться, как разгорается утро... Может быть, что-то из того, что придет к нам с нарастанием мирного времени, не будет узнано нами или окажется не таким, как мы ожидали, представляли себе, но хочется верить и верится, что полдень мира будет еще светлее, еще щедрей, еще свободней, еще прекрасней, чем мы представляем его сейчас, в первые дни после победы.

15 июля 1945 г.
Ленинград

Генерал-майор М. ГАЛАКТИОНОВ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ¹

Ре шающая роль Сталинграда в ходе войны против Германии

До сих пор наше исследование кампаний 1941 и 1942 гг. ограничивалось событиями на советско-германском фронте. Но ведь после нападения Германии на СССР образовалась антигитлеровская коалиция великих держав. Не следует ли в вопросе о стратегической цели учесть и эту сторону дела?

Выше показано, насколько постановка стратегической цели должна быть конкретной, соответствующей обстановке на данном театре и в данной кампании. В современных мировых войнах боевые действия происходят на разных театрах, иногда отдаленных друг от друга тысячами километров.

После Пирл-Харбора наши союзники — США и Великобритания — должны были уделить не мало сил для организации отпора другому агрессору — Японии. Захватив Сингапур, Филиппины и острова в южной части Тихого океана, японцы угрожали Австралии.

Однако у правительств США и Великобритании не было сомнений в том, что главным врагом, которого надо было разбить в первую голову, была Германия. В отношении этого противника с июня 1941 года наши союзники имели полную свободу действий, так как гитлеровцы против них не имели возможности предпринять никаких серьезных активных операций, если не считать подводной войны.

Деятельность США и Великобритании была направлена прежде всего

на развертывание военного потенциала, создание вооруженных сил, обеспечение морских коммуникаций. Конечно, такое планомерное руководство войной является необходимой предпосылкой в современных условиях для одержания конечной победы, и в ходе войны против Германии сыграло, как известно, весьма положительную роль. Но выше уже была подчеркнута разница между планированием мирного и военного времени: во время войны приходится считаться с противником, его планами, его активностью. Ход войны со всей очевидностью показал, что гитлеровцы делали ставку как раз на неподготовленность к войне демократических государств и разрозненность их действий.

В течение 1941—1942 гг. немецкий хищник не только не выпустил из своих рук добычу — поработенную, растерзанную Европу, но и заставил ее служить своим захватническим целям. Военный потенциал гитлеровской Германии расширился за счет промышленности и привлечения людских контингентов оккупированных стран и стран-сателлитов. Чудовищная рабская империя воздвигалась на обломках европейских государств. Можно ли было допустить, чтобы агрессор и впредь безнаказанно расширял свои захваты? Подобная «стратегия» была бы самоубийством для свободолюбивых народов. Как бы ни было желательно и целесообразно полностью и всесторонне подгото-

¹ Продолжение. См. «Знамя» № 7—8, 9—10, 1944 г., № 1, 2, 4, 5—6, 8, 1945 г.

виться к боевым операциям, война часто требует немедленных и безотлагательных действий.

В 1941—1942 гг. обстановка на европейском театре характеризовалась тем основным фактом, что главные силы Германии и ее союзников были брошены против СССР и здесь они завязли в тяжелых сражениях на гигантском фронте от Баренцова до Черного моря. Решение, которое диктовалось этой обстановкой нашим союзникам, приобрело настолько широкую известность, что достаточно просто указать на него: необходимо было немедленно и без отсрочки создать второй фронт в Европе.

Теперь, когда этот вопрос рассматривается уже в историческом аспекте, наши друзья за рубежом могут сказать: но ведь дело обошлось и без открытия второго фронта на том этапе войны, и, несмотря на это, все кончилось благополучно. Если так рассуждать, то бесполезно вообще заниматься историческим исследованием. В данном случае мы хотим на основе объективного анализа обстановки сделать объективные выводы по интересующей нас теме.

Немедленное создание второго фронта в Европе было необходимо, чтобы облегчить положение Красной Армии, на которую обрушилась безмерная тяжесть борьбы со всеми силами превосходно подготовленного врага в условиях, когда в СССР еще не была проведена мобилизация. Задачей второго фронта было отвлечь на себя часть вражеских сил,— по крайней мере, 60 немецких дивизий и 20 дивизий союзников Германии.

Но если создание второго фронта было бесспорно целесообразно, то располагали ли наши союзники реальными возможностями для осуществления такого мероприятия? Здесь-то мы и сталкиваемся с вопросом, представляющим особый интерес. Могут сказать, что даже в 1944 году высадка десанта во Франции была сложным и в известной степени рискованным предприятием. Как же можно ставить вопрос о высадке союзных войск на Европейском континенте в 1941—1942 гг.?

Нет сомнения, что высадка союзных войск на европейском континенте в 1941—1942 гг. была бы связана с известным риском, однако это неизбежно на войне не только в тактике, но и в стратегии.

Например, высказывалось не раз мнение, что стратегия Великобритании является осторожной и избегает риска. Но это не подтверждается историей. В 1914 году британский экспедиционный корпус высадился на континенте при исключительно опасной обстановке. В 1915 году была предпринята весьма рискованная операция по форсированию Дарданелл, кончившаяся сначала тяжелой неудачей. Однако правительство Великобритании не отступило от своего плана и предприняло также весьма рискованную операцию высадки своих войск на Галлипольском полуострове. Хотя десант и удался, операция протекла без успеха, пришлось эвакуировать войска с полуострова. В конце концов союзники закрепились в Салониках, создав Балканский фронт.

Итак, очевидно, дело было не в риске, а в том, насколько он был бы оправдан в отношении высадки на европейском континенте в 1941—1942 гг. Здесь не может быть двух ответов: обстановка на советско-германском фронте требовала немедленного создания второго фронта в Европе во что бы то ни стало. Это было единственно правильным стратегическим решением.

Можно было бы обсудить еще вопрос: имели ли наши союзники в то время необходимые транспортные средства и вооруженные силы для высадки своих войск в Европе. Но этот вопрос снимается тем, что в ноябре 1942 года высадились их крупные силы в Северной Африке. Дело шло таким образом лишь о том, в каком направлении бросить эти силы. Иными словами, какова была стратегическая цель наших союзников на том этапе войны?

После вступления в войну Италии на африканском континенте велись военные действия, в ходе которых британские войска преследовали, очевидно, цель: спасти от вторжения противника Египет и Суэцкий канал, обезопасить коммуникации Англии с Индией. Весной 1942 года Роммель вторгся на территорию Египта, угрожая Александрии. Цель, которую преследовала Великобритания, была, по видимому, стратегической, ибо дело шло о спасении одного из устоев Империи.

Но вспомним о противнике. В Роммеле ли было дело, несмотря на всю рекламу, которую немцы созда-

вали вокруг его имени. Где наносили немцы главный удар коалиции, а следовательно и Великобритании в частности? Стратегические цели немцев в 1942 году были, как показано, Москва и Баку. В случае успеха планов Гитлера, германская армия была бы на Кавказе, и над Ближним Востоком нависла бы угроза, которую британские войска не смогли бы отразить. Не ясно ли, что успех гитлеровского похода против СССР означал бы крах Великобританской империи?

Конечно, отсюда никак нельзя делать вывода, что не следовало прикрывать Египет и бороться с фашистскими войсками в Африке. Самого высокого уважения заслуживает доблесть британского солдата и полководческое искусство генерала Монтгомери, одержавших славную победу у Эль-Аламейна. Однако цель: оборона Египта и разгром Роммеля была частной. Вопрос, интересующий нас с точки зрения военной теории, состоит в том, следует ли в стратегии ограничиваться частными целями и не ставить решительных целей, и правильно ли это? Ответ ясен: не следует и не правильно. Такая стратегия, претендующая на осторожность, крайне опасна вообще, а в современных условиях и подавно.

Вопрос о том, что главное: спасать Египет или бить врага в решающем пункте,—возникал и в прошлой войне. В 1916 году Германия направила главный удар на Верден. Франция истекала кровью, она нуждалась в неотложной помощи союзников. В начале апреля французский главнокомандующий в своем обращении к председателю совета министров указывал: «Франция, затрачивая без счета свои силы, подходит к пределу своего напряжения». Он настаивал, чтобы англичане без промедления перевезли в Европу свои дивизии из Египта, Английский главнокомандующий на запрос Жоффра сообщил, что вопрос об египетских дивизиях вне круга его ведения. Начальник имперского генштаба генерал Робертсон обещал ускорить отправку одной дивизии из Египта, но исполнение и этого обещания оттягивалось. Жоффр был вынужден 25 апреля напомнить начальнику имперского генштаба о том, что «военное положение попрежнему характеризуется тяжелой борьбой, которую французская армия выдерживает под стенами Вердена...

Чрезвычайно важно сократить этот период битвы один на один, чтобы французская армия не вышла из нее совершенно истощенной...»

Французский главнокомандующий был бесспорно прав: судьба войны в то время решалась под Верденом, и задача союзников состояла в оказании быстрой помощи французской армии. В гораздо большей степени справедливо, что судьба войны в 1942 году решалась под Сталинградом, и задачей союзников была безотлагательная помощь Красной Армии организацией второго фронта в Европе. Этим, а не чем-либо иным нужно было определять стратегическую цель, которую должно было поставить союзное командование.

Значение Сталинграда является настолько общепризнанным во всем мире, что нет никакой нужды доказывать и обосновывать его. Повторяем, мы ни в какой мере не хотим умалить блестящих боевых действий британских войск в пустынях Африки. Это замечательные героические страницы второй мировой войны. Но нам кажется, что все армии свободолюбивых народов, сохраняющих свой боевой союз и на будущее, нуждаются в правильном разрешении основных вопросов военной теории.

В мае 1945 года был передан по лондонскому радио военный обзор генерал-лейтенанта Дугласа Браунригга о причинах поражения Германии. Мы коснемся лишь тех моментов, которые относятся к 1941 — 1942 гг. В обзоре говорится, что в 1941 году Гитлер «ошибся в расчетах и не смог ни дойти до Москвы, ни уничтожить русскую армию». В отношении 1942 года Браунригг, рассматривая «действия командующего в России фон Бока», говорит: «Мы, правда, не знаем, следует ли приписать их инициативе самого фон Бока или пресловутой интуиции Гитлера. Так или иначе, фон Бок, еще не уверенный в окончательном исходе сталинградского сражения, послал часть своих войск на захват Кавказа, то есть нарушил первое правило военной науки — неуклонно стремиться к одной цели, или, говоря языком футболистов, он упустил из виду мяч. В результате этого ни та, ни другая из его целей не была достигнута».

Относительно важности единства цели на войне следует полностью согласиться с английским обозрева-

Телсм, который в чисто британском стиле сравнивает войну с футболом. Продолжая сравнение, можно было бы сказать и, кажется, такие выражения встречались в англо-американской прессе,—что коалиция должна была действовать как одна команда. Между тем задача отбивать мяч, катящийся на восток, была всецело предоставлена русской части команды. Правда, правила игры в футбол воспрещают пинок в зад противнику возможно потому, что игра слишком уж напомнила бы действительную схватку. Но на войне такие приемы отнюдь не воспрещены.

Браунригг утверждает что «разгром Роммеля примерно совпал с разгромом немецких армий у Сталинграда. В результате этих двух поражений германская военная машина пережила потрясение, от которого она фактически уже больше не могла оправиться».

Известно, что в Африке находился всего несколько немецких дивизий. Главные силы Германии находились на советско-германском фронте и понесли тяжелое поражение у Сталинграда. Именно этот факт имел решающее значение для дальнейшего хода войны. Представим себе на минуту, что Германия, одержав победу на Востоке, получила бы в 1942 году свободу действий на Средиземноморском театре. Не может быть сомнений в том, что Гитлер овладел бы Египтом и открыл бы себе путь в Индию. Судьба трех континентов, Европы, Азии и Африки, решалась в 1942 году под Сталинградом.

Используя скванность главных сил Германии на советско-германском фронте, союзники в ноябре 1942 года осуществили высадку англо-американских войск в Северной Африке. Поход огромной десантной армии из Англии вдоль французского побережья через Гибралтар и высадка сотен тысяч войск в Алжире и Французском Марокко бесспорно являются замечательным военным предприятием. Немцы, повидимому, полностью прозевавшие десант, не оказали ему никакого противодействия. Какова же стратегическая цель этой десантной операции?

Цель может быть обозначена: Туни́с. Союзные войска, высадившиеся западнее, наступали к этому пункту, в то время как генерал Монтгомери без передышки гнал Роммеля с восто-

ка. Операции затянулись, но в конце концов ита́ло-немецкие войска, отброшенные в район Туниса, были здесь ликвидированы. Африка была полностью очищена от фашистских войск.

Согласно данному ранее определению стратегическая цель ставится на данном театре для одной кампании или нескольких последовательных кампаний. Но вся суть в том, что эта цель является решающей.

При постановке стратегической цели имеется в виду достижение решительного результата, а это в свою очередь связано с поражением главных сил врага и завершением войны. Но и в прошлом бывало, что после достижения решительного результата война продолжалась. В 1806 году Наполеон разгромил прусскую армию у Иены и Ауэрштедта. Это был решительный результат: Пруссия была беспособна к продолжению войны, Наполеон вступил в Берлин. Но, как известно, война продолжалась на территории Пруссии уже против русских войск. Последовали битвы у Прейсиш-Эйлау и Фридланда. Результатом второй кампании был Тильзитский мир, и лишь тогда определилось окончательное поражение Пруссии в войне.

В современных войнах решительный результат достигается также только поражением главных сил противника. Однако теперь воюющие государства обладают такими огромными ресурсами, что, в случае поражения даже главных сил, могут выставить второй, третий и более эшелоны вооруженных сил. В первой мировой войне Германия потерпела три решающих поражения: в кампании 1914 г.—Марна и Галицийская битва; в кампании 1916 года—Верден, Сомма и брусиловское наступление; в кампании 1918 года—вторая Марна и Амьен 8 августа.

Отсюда ясно, почему и в каком случае можно говорить о решительном результате, достигнутом в ходе отдельной кампании (или кампаний) и на отдельных театрах. Ведь могут быть кампании, в которых вообще не предпринимается активных действий или ведутся операции лишь частного значения. Решительные задачи могут ставиться и в тактических действиях. Но стратегически решительный результат означает поражение главных сил противника, и такое поражение оказывает решающее влияние и на ход всей войны. Если война все же

продолжается, то лишь потому, что противник имеет возможность создать новые армии и как бы начать войну заново.

В 1940 году Германия бесспорно достигла решительного результата на Западе. Тем не менее, Англия смогла продержаться благодаря наличию мощного морского флота и значительных сил авиации, пока не возникла коалиция трех великих держав против Германии. Пользуясь полученной отсрочкой, Великобритания создала новые вооруженные силы и продолжала войну.

Таким образом, в отдельных кампаниях могут и должны ставиться решительные цели, имеющие в виду полный разгром вражеских сил. Однако это не приводит сразу к окончанию современных мировых войн ввиду их огромного масштаба и колоссальных ресурсов, которые пускаются в ход.

Стратегия гитлеровцев была авантюристичной, ибо она рассчитывала покончить с могучим Советским Союзом в одной кампании.

Но ошибочной является и стратегия, отказывающаяся от решительных целей на том основании, что войны теперь не кончаются в одной кампании. Даже при крупном перевесе в силах и средствах над противником, такая стратегия ведет к затягиванию войны на долгие годы.

Могли ли наши союзники ставить решительную цель в 1941—1942 гг.? Ведь главные силы Германии находились на советско-германском фронте и таким образом можно высказать предположение, что лишь Красная Армия могла нанести им поражение. Однако решительную цель можно и должно было ставить также и на Западе: это значило создание второго фронта в Европе. Такой удар был бы нацелен против главных сил Германии и вынудил бы гитлеровское командование к их раздроблению. Этим был бы достигнут решительный результат и ускорено окончание войны.

Вернемся к Тунису. С этим обозначением была связана, во-первых, оборонительная цель: не допустить немцев овладеть Египтом, о чем уже говорилось. Во-вторых, преследовалась цель вывести из строя Италию. В Африке действовали, как известно, крупные силы итальянской армии, и их поражение наносило, конечно, серьезный удар режиму гитлеровского ла-

кея Муссолини. Однако этот удар отнюдь не был для фашистской Италии решающим. Гораздо более серьезным ударом для нее было поражение немецких и итальянских войск под Сталинградом. Италия в блоке держав оси не играла даже такой роли, как Австро-Венгрия в блоке центральных держав в прошлой войне. Однако и для поражения Италии войну еще надо было перенести в Европу. Итак, в-третьих, Северная Африка могла рассматриваться как «трамплин для прыжка в Европу». С этой стороны цель: Тунис — могла бы рассматриваться в то время как промежуточный этап к достижению решительной цели — создание второго фронта в Европе. Но крайняя медлительность действий союзников исключает такую трактовку цели. Лишь летом 1943 года началась высадка в Сицилии. Рим был взят 4 июня 1944 года, накануне высадки в Нормандии. После того итальянский фронт окончательно становится второстепенным, и немецкая группировка в Северной Италии капитулировала уже после полного разгрома главных сил германской армии.

Решительный характер на Западе имела лишь цель, связанная с созданием второго фронта в Европе. Только через три года после нападения Германии на СССР эта цель была, наконец, достигнута. В течение трех лет вся тяжесть борьбы с германской армией лежала на плечах Красной Армии.

«Битва под Сталинградом кончилась окружением 300-тысячной армии немцев, разгромом последней и пленением около $\frac{1}{3}$ окруженных войск. Чтобы иметь представление о размерах того невиданного в истории побоища, которое разыгралось на полях Сталинграда, необходимо знать, что по окончании Сталинградской битвы было подобрано и похоронено 147 тысяч 200 убитых немецких солдат и офицеров и 46 тысяч 700 убитых советских солдат и офицеров. Сталинград был закатом немецко-фашистской армии. После Сталинградского побоища, как известно, немцы не могли уже оправиться». (Из доклада товарища Сталина 6 ноября 1943 года.)

Испокон веков полководцы искали «решения» на войне. Назначение военного искусства и состоит в сущности в том, как достичь такого реше-

ния. Опыт войн говорит, что решение достигается нанесением урона врагу, причинением ему тяжелых потерь. Но не всегда этот урон и эти потери таковы, что противник физически не может продолжать борьбу. Они оказывают часто такое моральное воздействие, что более слабая сторона как бы признает себя побежденной, бежит (именно бежит, а не отступает в порядке) с поля боя. В боксе один из участников сбивает противника с ног. Однако у упавшего еще есть шанс: он поднимается и продолжает борьбу, его кулаки целы, но он ослаблен физически и морально, и часто он уже не чувствует в себе уверенности победить — самое страшное воздействие неудачи. Новый удар сваливает его с ног, он повержен наземь и не может подняться — он покаутирован. Есть свой смысл в старой военной поговорке (которую, разумеется, нельзя понимать буквально): побежден тот, кто признал себя побежденным.

Никто так не хлопотал вокруг понятия: «решение» (Entscheidung), как немцы. Шлиффен написал труд «Капны», а его последыши, гораздо менее крупные по рангу военной мысли, создали термин «битва на уничтожение» (Vernichtungsschlacht). Гитлеровцы хвастались, что они реализовали эту доктрину во Франции в 1940 году. Действительно, решительный результат был тогда достигнут. Однако был один признак, на который в то время обращалось мало внимания: французская армия была разбита и пленена, но она понесла совершенно ничтожные потери убитыми. Какое же значение имел этот факт, если «решение» было тем не менее достигнуто. Ход войны показал, что это имело значение: противник был попросту слишком слаб, а ведь для суждения о ценности победы важно знать, какова же сила противника. И в самом деле, на советско-германском фронте немцы тщетно пытались реализовать доктрину «битва на уничтожение». Тщетны были их потуги сломить Красную Армию физически и морально. Вместо того «непобедимая» германская армия потерпела решительное поражение под Москвой, и, кстати сказать, немцы были вынуждены признать себя побежденными, пытаясь свалить всю вину на русскую зиму.

Сталинград является отныне клас-

сическим образцом достижения решительного результата в войне, происходящей на гигантском фронте, протяжением свыше 3000 километров. Нельзя упускать из виду грандиозных масштабов этой войны. Даже простое, повседневное управление войсками на таком необозримом пространстве ставит перед главнокомандованием исключительно трудные задачи: надо непрерывно питать фронт обученными пополнениями, продовольствием, оружием, боеприпасами; надо руководить непрерывно возникающими боевыми действиями, которые могут быстро получить оперативное значение в случае прорыва фронта; надо координировать действия отдельных фронтов (армий). Но как достичь решительного результата? Атаковать врага на всем фронте сразу? Как раз решительного результата и не получится, размельченные усилия на обширном театре останутся бесплодными.

И вот у стен Сталинграда Красная Армия нанесла врагу решительное поражение, изменившее весь ход войны против Германии в пользу Красной Армии, в пользу свободолюбивых народов. Военная наука должна заняться самым тщательным изучением этого исторического факта.

Как и почему был достигнут Красной Армией решительный результат в кампании 1942-43 гг.? Говоря о стратегической цели в этой кампании, мы имели в виду именно решающую цель, что и выражено в четырех пунктах, указанных в предыдущем разделе¹. Необходимо только помнить о тесной связи и зависимости друг от друга этих пунктов, раскрывающих содержание единой стратегической цели.

Итак, во-первых, у Воронежа, Сталинграда, Владикавказ, Новоросийска было остановлено германское наступление. Это был решительный результат. Уже в первой главе говорилось, что остановить гитлеровскую агрессию само по себе означало изменить ход войны в неблагоприятную для Германии сторону.

Германская стратегия проявила себя сверхнаступательной. Однако на войне нельзя всегда наступать или только наступать: есть другая, не менее трудная и важная задача — во-

¹ См. «Знамя № 8, 1945 г., раздел «Сталинград—Ростов».

время остановиться и закрепиться. Но для Гитлера исключалась такая очевидная и необходимая вещь: его завоевательные планы были безбрежными, что находилось в противоречии с большими, но все же ограниченными силами Германии и порабощенной ею Европы.

Германская армия была построена на принципе максимального использования наступательных средств — танков, авиации, легкой подвижной пехоты с наиболее облегченным вооружением. Но на войне есть не только движение, есть и борьба на укрепленных позициях, которые надо отстоять. Нельзя отрицать, что немцы быстро строили оборону, в изобилии насыщая ее огневыми средствами. Однако, в этом положении сразу терялись основные преимущества германской армии, создававшейся для «молниеносной» войны. Танк — важнейшая боевая машина, но, теряя подвижность, она сразу теряет и свои преимущества. Пехота и в этой войне подтвердила право называться царицей полей, ибо она способна решать, взаимодействуя с техникой, любые задачи в бою. Она может наступать в любых условиях, может остановиться и закрепиться на местности. Сила артиллерии проявляется как в наступлении, так и в обороне. Односторонняя ставка только на наступательные средства была одним из проявлений авантюризма гитлеровцев.

Первостепенной задачей антигитлеровской коалиции являлось прежде всего остановить германскую агрессию. Было очевидно, что, если бы этого удалось добиться до того, как Германия достигла решающих побед, конечное поражение ее становилось неизбежным, принимая во внимание превосходство сил и ресурсов трех великих держав. Но если бы остановить не удалось, если бы гитлеровская агрессия перекинулась за Урал и Кавказ, то есть через границы Европы, если бы она распространилась на Азию и Африку, — дело свободлюбивых народов могло быть проиграно. Такая перспектива представляется исключенной, но об этом и решался вопрос у Сталинграда. Да не забудут того современники и потомки!

К осени 1942 года германская агрессия, достигшая своей высшей точки, была остановлена гигантским

напряжением всех материальных и духовных сил русского народа, народов всего Советского Союза. Враг был остановлен сначала у Воронежа, затем у Сталинграда и далее у Владикавказа и Новороссийска. Остановка немцев на этих рубежах сама по себе имела решающее значение в ходе войны. Гитлеровцы не достигли стратегических целей, которые поставили, им не удалось сокрушить Советский Союз. Они понимали, что при таком положении вещей Германия рано или поздно проиграет войну. У них оставалась еще иллюзия — возможность продолжать наступление. Вот почему они рвались вперед, стремясь во что бы то ни стало разбить краеугольный камень советского оборонительного фронта — взять Сталинград. Однако и эта иллюзия была уничтожена Красной Армией, руководимой мудрой сталинской стратегией.

Перейдем ко второму пункту — Сталинградской битве. Как указано выше, уже в период обороны Сталинград сыграл решающую роль в ходе войны. Вспоминаются Бородино 1812 года, Севастополь 1855—1856 гг., Верден 1916 года. Однако Сталинград превосходит все примеры прошлых времен ожесточенностью битвы и значением ее для всего хода войны грандиозной по своим масштабам.

Товарищ Сталин говорит о «невиданном в истории побоище» и указывает цифру убитых немцев. В бою с оружием в руках русский воин показал свое превосходство над немецким солдатом. Конечно, у Германии еще были резервы, чтобы восполнить потери в живой силе. Но ничем уже нельзя было возместить упадок духа германской армии: понесла страшные потери, она не смогла взять Сталинграда. Убеждение в превосходстве Красной Армии проникло в сознание немецких солдат, оно распространилось по всему миру. У Гитлера оставался лишь один путь — вытравить из сознания людей это общее убеждение — все-таки взять Сталинград. Вот почему немецкие войска продолжали бешеные атаки развалин Сталинграда. Этим германская армия готовила себе еще более страшную катастрофу.

Третий пункт — окружение и разгром Сталинградской группировки немцев. Величайшая в истории войн Сталинградская операция на окружение 300 тысячной армии оказала ре-

шающее воздействие на ход всей войны. Если в Сталинградской обороне было доказано тактическое превосходство Красной Армии над немцами, то в операции окружения было доказано превосходство оперативного искусства Красной Армии. Здесь уже не помогли бы ссылки на зиму. Немечки генералы были биты. Их самоуверенность и высокомерие были подорваны в корне.

Никогда не было более убедительной и очевидной победы. Она была ясна и понятна для миллионов людей во всем мире. Красная Армия, одержавшая такую победу, неизбежно разгромит гитлеровскую Германию. Эта идея прочно крепла в сознании свободолюбивых народов, она проникла и в самую Германию, подрывая дух и боеспособность немецких вооруженных сил.

И, в-четвертых, были разгромлены немецкие войска на всей территории, захваченной немцами в наступлении 1942 года. Они вынуждены были отступить, неся огромные потери. Красной Армией были освобождены жизненно важные экономические территории, восстановлены коммуникации с Югом.

Решающее значение для хода всей войны имел тот факт, что враг не только был остановлен, но и отброшен на запад, инициатива перешла к Красной Армии. Были похоронены всякие надежды гитлеровцев возобновить наступление на Москву и Кавказ с рубежей, куда они выдвинулись летом 1942 года.

«Зимой 1942-43 гг. наши доблестные войска разбили отборные армии немцев, итальянцев, румын, венгров, перебили и пленили свыше миллиона вражеских солдат и офицеров и освободили огромную территорию площадью до полумиллиона квадратных километров». (Из приказа Верховного Главнокомандующего 7 ноября 1943 года.)

Начавшееся 19 ноября 1942 года наступление Красной Армии на запад продолжалось вплоть до окончательного разгрома Германии. Уже зимой 1942-43 гг. развернулись дальнейшие операции, направленные к осуществлению благородной цели — изгнания врага со всех территорий Советского Союза. Эти операции будут рассмотрены в третьей главе.

Впереди еще были тяжелые битвы. Но при обзоре всего хода войны

совершенно очевидным становится факт, что со времени Сталинграда произошел поворот в пользу Красной Армии и свободлюбивых народов. В истории нет примера битвы, которая оказала бы столь глубокое и решительное воздействие на ход дальнейшей, тяжелой и огромной по масштабам войны против сильного врага. Это произошло не случайно. Это объясняется полноценностью победы Красной Армии, свидетельствующей о превосходстве над врагом ее тактического мастерства, оперативного искусства мудрой сталинской стратегии. Поражение Германии в этой гигантской схватке на берегах Волги и Дона стало предельно ясным и очевидным для всего мира. Сталинград стал могучей моральной силой, мобилизующей все демократическое человечество на борьбу с гитлеровской Германией.

Для военной теории исключительно важен тот факт, что и в современных войнах, происходящих на обширных пространствах, при развертывании вооруженных сил на фронтах по всему театру военных действий, решительный результат достигается на направлении главного удара. Этим подтверждается глубина и истинность сталинского определения стратегии.

Сталинград является классическим образцом действенности и жизненности стратегии, концентрирующей все усилия войск и народа на достижении единой цели. Эта цель должна быть избрана правильно. Сталинский гений в исключительно сложной и тяжелой обстановке обеспечил правильную постановку цели и неуклонное достижение ее.

Изученный и обобщенный опыт исторических кампаний 1941 и 1942 гг. является ценнейшим вкладом в созданную товарищем Сталиным современную военную науку. Здесь же можно сделать лишь некоторые выводы, относящиеся к понятиям, весьма важным для военной теории.

1. Фронт. Со времени первой мировой войны военные действия имеют тенденцию рассредоточиваться на широком фронте. Особенно типичным примером измельчения боев явился период позиционной войны, когда армии осели на неподвижных укрепленных фронтах.

Укрепленные фронты возникают и в современной маневренной войне. В 1942 году гигантский фронт про-

тянулся от Черного до Баренцова моря. Надо представить себе, какое огромное количество сил и средств было необходимо для удержания и питания такого фронта. А ведь даже на спокойных участках боевая деятельность никогда не прекращалась.

Уроки двух мировых войн говорят, что образование укрепленных фронтов является теперь необходимою. И было бы совершенно неправильно рассматривать Сталинград изолированно от остального гигантского фронта.

Но ведь с образованием фронтов связана и тенденция к рассредоточению сил, к измельчению боевых действий, к позиционной войне. В то же время Сталинград является живым опровержением этой тенденции, торжеством маневренного принципа. Чтобы понять, в чем дело, надо обратиться к другому понятию.

2. Стратегические резервы. Уже в прошлой войне обнаружилось, что не все силы рассредоточиваются по фронту. Часть сил главнокомандование удерживает в своем распоряжении. В ходе войны 1914—1918 гг. резервы главнокомандования непрерывно росли количественно и качественно. Из них создавались ударные армии для прорыва.

В современной войне создание таких ударных группировок, действующих на определенных направлениях, происходит в гораздо больших масштабах. Огромные массы войск из танковых, авиационных, артиллерийских и стрелковых соединений размещаются в тылу за линией фронта.

Кампании 1941 и 1942 гг. показывают решающую роль стратегических резервов. Искусное маневрирование и своевременный ввод в бой резервов являются одной из самых замечательных особенностей сталинской стратегии.

Итак, наряду с тенденцией рассредоточения сил по фронту, наблюдается и обратная тенденция — к концентрации сил на определенных направлениях для использования их в качестве стратегических резервов. Отсюда возможность наступления и маневра с решительными целями — прорыв фронта, разгром и уничтожение вражеских сил.

3. Центр тяжести борьбы. Кампании 1941 и 1942 гг. представляют исключительный интерес для военной науки, так как в них обе сто-

роны преследовали решительные цели. Однако в постановке целей обнаружилась коренная противоположность двух стратегий.

Авантюристическая стратегия гитлеровцев ставила цели без трезвого учета соотношения сил. Пренебрежение к противнику вообще характерно для германского генштаба. Следует помнить, что и при таком методе концентрация сил на определенных направлениях создает огромные угрозы для противника. Мы видели, как трудна оборона против таких наступлений в стиле «блицкрига».

Сталинская стратегия основана на науке, на правильном учете соотношения сил. Товарищ Сталин с величайшей прозорливостью раскрывал планы и цели врага. Сталинская стратегия ставила решительные цели на основе ясной оценки действительной обстановки.

В двух исторических кампаниях правильная научная сталинская стратегия одержала верх над авантюризмом гитлеровцев. И это произошло несмотря на то, что инициатива первоначально находилась в руках германского командования. В обеих кампаниях инициатива перехватывалась советским командованием, и Красная Армия наносила решительное поражение врагу.

Неоспоримым выводом отсюда является, что при постановке решительных целей надо учитывать всю обстановку в целом, включая силы, планы и действия противника.

Весьма важным является понятие центра тяжести борьбы на всем фронте. В сложной и неясной обстановке, которая складывается при гигантских столкновениях на широком фронте, чрезвычайно важно своевременно определить центр развернувшихся боевых действий.

Почему необходимо это понятие, не проще ли сразу же говорить о постановке решительной цели (как это и делали гитлеровцы)? Потому что на войне есть противник. На фронтах протяжением в сотни тысячи километров всегда есть возможность, при наличии крупных сил, предпринять новые удары, могущие внести коренные изменения в обстановку.

4. Стратегическая цель. Поразительно, насколько точно и всесторонне учитывались в сталинском стратегическом руководстве 1941 и

1942 гг. все особенности и детали обстановки.

Нельзя упускать из виду, что в момент решающих событий под Москвой предпринимались и частные контрудары под Ростовом и Ленинградом. Завязав генеральное сражение у Сталинграда, Верховное Главнокомандование Красной Армии зорко следило за малейшими попытками врага прорваться на север и прикрывало также направления к Баку и в Закавказье.

План наступательных операций 1942 года поражает трезвым учетом всех деталей обстановки, включая расположение вражеских резервов и возможные контрдействия противника.

Но сталинская стратегия видит детали с высоты орлиного полета. Она возродила в современных условиях дух маневра и дерзания лучших эпох развития военного искусства. В исключительно сложной и тяжелой обстановке товарищ Сталин ставит решительную цель — разгром главных сил врага — и достигает ее.

Замечательно, что в обеих кампаниях стратегическая цель объединяет периоды обороны и наступления.

И на современных фронтах происходит концентрация сил на определенных направлениях. Сталинская стратегия нацелена на разгром главной группировки противника. Она концентрирует усилия войск и народа для нанесения решительного поражения врагу. Она использует основную массу стратегических резервов в решающем пункте в решающий момент.

Неуклонное стремление к правильно поставленной стратегической цели влечет за собой постепенное изменение обстановки в нашу пользу, пере-

хват инициативы у противника, подчинение его воли воле советского командования.

Под Москвой в 1941 году и Сталинградом в 1942 году мы наблюдали одно и то же: растерянность и беспорядочность действий германского командования, планомерность и решительность действий советского командования. При наличии крупных сил и даже численного перевеса, немцы терпят поражение. Это происходило не случайно. В этом сказывалось огромное преимущество правильного нацеливания советских войск.

Победа венчает мужество. Победа венчает мудрость. Москва 1941 года и Сталинград 1942 года были дерзновенными решениями полководца, но они были правильными, и даже больше того, — единственно правильными; преследуя ясную решительную цель, наши войска получали превосходство сил на участках сражения в критический момент. Силы ошеломленного незапнностью врага были разбросаны и дезориентированы.

Отличительная особенность сталинского стратегического замысла — оригинальность, новизна, неожиданность для противника, который не понимал его и действовал вслепую.

Бессмертные образцы сталинского полководческого гения — Москва 1941 года и Сталинград 1942 года — являются животворным источником для военной мысли. Ибо в них раскрываются самые глубокие тайны труднейшей из наук — науки побеждать.

К о н е ц 2-й г л а в ы

(Продолжение следует)

А. БУРОВ

Член-корреспондент Академии архитектуры Союза ССР

ВОЙНА И АРХИТЕКТУРА¹

(Из книги «В поисках единства»)

«Врагом причинены нам огромные разрушения. Некоторые города, как например, Сталинград, почти полностью уничтожены, и их придется заново отстраивать. И вот невольно возникает вопрос — как строить? Можно ведь просто возводить здания на основе старой планировки, а можно произвести их новую перепланировку. Нам кажется, что к этому делу должны быть приложены все творческие силы наших архитекторов и строителей; прежде всего должна подвергнуться пересмотру целесообразность старой планировки. А само строительство жилищ должно быть строго разграничено в отношении требований, предъявляемых к работам по временным жилищам и к постоянным. И если во временных жилищах можно опустить те или иные удобства, то зато капитальные здания, несмотря на военную обстановку, должны строиться вполне культурно.

Могут возразить, что новая планировка городов сильно усложнит и даже задержит строительство и что это мероприятие довольно дорого обойдется. Вполне соглашаясь с этим, я все же думаю, что это необходимо сделать. Ведь города строятся на столетия, и поэтому особенно важна их целесообразная планировка. Сама разработка проектов не требует сейчас каких-либо особо дефицитных материалов, архитектурными же силами мы вполне располагаем, и поэтому на денежные расходы и в этом отношении надо идти, не скупясь.

А насколько велико значение сознательного и вполне культурного построения городов, их приспособленности к местным условиям, видно из того, что каждый большой город в нашей стране имеет свои географические и климатические особенности». (М. И. КАЛИНИН. «Большая задача», «Известия», 10/XII 1943).

В архитектуре, как в большой реке, сливаются все реки, ручьи и ручейки культуры. Это не ново а если и ново — не будем бояться нового. В конце концов эта метафорическая река превращается в озеро-город и в море-страну, с бесчисленным множеством домов, где живут люди.

Хорошо ли построены современные европейские города, видно на примере хотя бы дачных поселков, куда люди спасаются на две недели — на месяц в году от всех достижений случайно

и хаотично примененной техники, для того чтобы с чувством огромной радости и облегчения прожить этот месяц в условиях полного или почти полного отсутствия этой техники.

В городах, таких, как Париж, есть телефоны, радио, водопровод, канализация, трамваи, метро, лифты, то есть существует все, что создала техническая мысль, но за это их житель должен заплатить пятнадцать годами жизни, здоровьем своих детей, ростом преступности, нелепым и негигиеничным образом жизни. Вместо природы он видит только «оформленные фасады». Мы платим дань не

¹ Печатается в порядке обсуждения.

технике, а случайному нагромождению этой техники и неумению ее использовать.

Исторический процесс, социальные условия, противоречивое хаотическое развитие индустрии обусловили такую структуру города. Мы в принципе сняли эти противоречия, у нас есть Госплан. И дело уж не в противоречиях, а в неумении многих архитекторов осознать эти противоречия и преодолеть их.

Берлин — город почти такой же величины, как Париж или Москва, оказался наполовину разрушенным в результате серии налетов. «Нисения пала — кто пожалеет Нисевию». — Никто.

Но это урок архитекторам.

Необходимо решить задачу: обеспечить прочность домов и неушируемость городов.

Если дуб сломало ураганом, а былинка выдержала ураган, не надо ли посмотреть, как сделана былинка.

Сознание архитекторов, поглощенное спорами о стилях, еще не умсет до конца и органически связать вопросы строительства, транспорта, войны, экономики и здоровья нации.

Проблеме реконструкции городов, разрушенных войной, посвящена огромная литература, опубликованная в странах Объединенных наций.

Некоторые английские архитекторы выдвигают новый принцип строительства городов: параллельными, следующими за рельефом рядами зеленых зон. В одной ленте располагается жилище, в другой — параллельной — место работы: «из двери в дверь». Таким способом они предлагают решить труднейшую проблему: радикально сократить транспорт.

В Англии еще до войны, до автомобильной эры, ряд архитекторов на практике доказал, что малоэтажная интенси́вная застройка — с плотностью населения в 150 человек на га, или 12 квартир на 1 га, при соответствующей планировке и облегченной конструкции канализации, водопровода, дорог и т. д. — конкурентоспособна с интенси́вной многоэтажной застройкой. И это без применения индустриальных методов строительства домов, которых тогда еще не было.

Австралийцы выдвинули и решили другую систему — городов-спутников. Так построена столица Австралии — Канберра, город, состоящий из нескольких больших городов-садов

с лимитированным населением в 12—16 тысяч человек. Каждый из спутников окружен зеленым кольцом.

Англичанин Алкер Трипп выпустил работу, которая ложится в основу новых планировок Лондона. Плимута, законченных в 1943 году. Эта работа создает переворот в планировочных принципах. Трипп устанавливает три и только три категории улиц:

1) межрайонные, или общегородские магистрали (эти магистрали нигде не пересекаются с другими улицами в одном уровне; они отгорожены от пешеходов; имеют минимум пересечений). Они соединяются только с

2) внутрирайонными магистралями. И, наконец,

3) внутриквартальные улицы выходят на внутрирайонные магистрали.

Магазины расположены на внутрирайонных магистралях, а подъезды жилых домов выходят только на внутриквартальные улицы. И нигде пешеходы не пересекают магистрали в одном уровне.

Выдвигается принцип «районов». Район представляет единый социально-хозяйственный городской организм, с полным культурно-бытовым обслуживанием населения, комплексом всех необходимых предприятий и учреждений, культурных, спортивных и бытовых сетей. И с таким расчетом, чтобы житель района для достижения любого пункта (ясли, магазин, кино, школа, теннисный корт) затратил не более 10 минут.

Американцы, развивая эту идею дальше, путем создания тупиковых внутриквартальных улиц, добиваются полного разделения автомобильного транспорта от пешеходного. Пешеход, находясь внутри «района»-квартала, нигде не пересекает место, по которому может проехать автомобиль даже внутри квартального тупика или улицы.

Любопытно, что человек, перевернувший все планировочные принципы, — Алкер Трипп — не архитектор, не инженер, не ученый, а полицейский инспектор Скотленд-ярда, инспектор по автомобильным катастрофам, изучивший на протяжении 10 лет причины гибели на улицах и дорогах Англии 68 248 человек и 2 107 904 раненных (в среднем в один год в Англии погибало в результате автомобильных катастроф 6820 человек убитыми и 210 700 человек ранеными).

«Жертвы среди гражданского населения Англии. Лондон, 29 декабря (ТАСС). Как передает агентство Рейтер, в Лондоне официально объявлено о том, что число жертв от немецких бомбардировок среди гражданского населения Англии за одиннадцать месяцев 1944 года составляет 8098 убитыми и 21 137 тяжело ранеными. В 1940 году число жертв составляло: 19 779 убитыми и 25 665 тяжело ранеными. В 1941—20 844 убитыми и 21 788 тяжело ранеными. В 1942—3122 убитыми, 3953 тяжело ранеными. В 1943 году—2362 убитыми и 3410 тяжело ранеными».

Таким образом вся немецкая авиация и ФАУ-2, брошенные против Англии, убивали ежегодно в среднем 5420 человек и ранили 15 000, то есть меньше, чем было убито и ранено в городах и на дорогах Англии автомобилями. Но не автомобиль, в сущности, убил этих людей, а веками сложившиеся планы городов и дорог, не приспособленные для автомобиля.

Проблема организации автомобильного движения не ограничивается городами. В Англии стоит проблема реконструкции дорог страны, строительства автострад с развязками всех перекрестков в разных уровнях — по образному выражению американцев — «дорог, управляющих автомобилем». И это в Англии, где на один автомобиль приходится 22 жителя страны (в Америке на один автомобиль приходится 6 человек).

Каков должен быть новый тип построек?

Повторение огромных стандартных корпусов в натуре производит, как мне кажется, отталкивающее впечатление. Обычно эти корпуса-казармы стоят на пустыре, причем никакие архитектурные «детали» не в состоянии справиться с объемом и давящей скукой их повторения. Другим примером могут служить те же подмосковные дачи, своим разнообразием пока не блещущие. Однако каждый городской житель, попав из города на такую улицу, ощущает: «как хорошо»

Малозэтажные дома будут лучше, чем дачи. Ассортимент их форм может и должен быть велик.

Попробуем обосновать наши взгляды.

Результатом каких последовательных исторических наслоений являет-

ся, скажем, Париж? Началом его плана была прямоугольная сетка римского лагеря Лютеции. Затем на него легла сетка средневекового города с узкими улицами, плотной застройкой, вызванной необходимостью разместиться за оборонительными стенами. Отсюда многоэтажные дома. И еще потому, что лошадь бегала не слишком быстро.

План европейского города есть равнодействующая социальных, экономических, военных и транспортных соображений.

Кончалось средневековье. Париж продолжал расти при абсолютизме. Укрепления вынесли на следующее кольцо. Лошадь и человеческие ноги остались основным видом транспорта. 1870 год — разгром Франции. Начинают входить в жизнь железные дороги. Но они не позволяют существенно рассредоточить город, — остановку нельзя делать слишком часто. Город продолжает расти — «Новый Вавилон». Лошадям делается тесно. Осман¹ прокладывает свои магистрали. Эти магистрали необходимы и по ряду политических соображений. Затем, уже в наши дни, срывают укрепления и на их месте делают новое кольцо бульваров. Строят метро. Город продолжает оставаться скучным и плотным. Сравнительно небольшому количеству автомобилей негде разместиться, несмотря на ширину улиц. Автомобильное движение душит перекрестки: средняя скорость движения автомобиля ничтожна.

И вот система планировки европейского города, сложившаяся в результате претиворечивого исторического развития, связанная с многоэтажной застройкой, являющаяся как бы равнодействующей военных и транспортных требований, вступила в середину XX столетия.

Современные методы войны опрокинули первую предпосылку, обусловившую планировку и характер многоэтажной застройки города тяжелыми и непрочными домами, — военную предпосылку.

Современный транспорт — автомобиль — опрокинул вторую. Нужно строить плотно, а следовательно, многоэтажно, чтобы удобно и дешево было сообщаться. Автомобиль в Париже

¹ Префект Парижа, выдвинувший в 70-х годах идею реконструкции Парижа и реализовавший ее.

уже перед войной не мог двигаться, давил людей и наполнял воздух ядовитой гарью. Он потерял в условиях города присущую ему скорость. И опрокинул вторую — транспортную предпосылку.

Дешевизна малоэтажного строительства опрокидывает третью предпосылку, будто выгоднее всего многоэтажное строительство.

Вот почему мы, архитекторы, сегодня же должны обсудить свои задачи, дать себе ответ, как мы будем проектировать, а затем строить разрушенные города.

Будем ли мы их снова застраивать 6-этажными кирпичными зданиями и только такими зданиями и с прежней плотностью — так, как это делалось до сих пор: десять — пятнадцать человеко-дней на постройку одного кв. метра и 300—350 кг материала на 1 кв. метр жилой площади? Или мы начнем решение основных архитектурных задач с развития и освоения малоэтажного высоко индустриального строительства 1—2 квартирных жилых домов (отдельных или блокированных) и будем их строить в 10 раз легче, в 10 раз скорее, в 10 раз дешевле, как это показал опыт строительства военного времени? И дадим в десять раз больше зелени, и создадим в десять раз лучшие условия для жизни, чем это было до сих пор?

Я думаю, что мы имеем право так ставить и так решать вопрос.

Современная война показала, что не может быть передовой современной страны без крупной развитой автомобильной и авиационной промышленности.

Справившись с быстрым и дешевым индустриальным производством малоэтажных домов, мы по-настоящему поймем, что такое строительная индустрия, — так, как ее поняли в автостроении, самолетостроении и пр. От малоэтажных домов, сделанных на индустриальных поточных принципах, мы сможем, применяя те же принципы на новой, более высокой ступени, перейти к четырем — шестиэтажным домам.

На основе ориентированных структур¹, начиная с фанерного шпона и переходя к другим, более совершен-

ным, мы научимся делать и 25-этажные дома из конструктивных элементов, колонн, балок, полых стен, плит, оболочек большого размера, поднимаемыми одним-двумя рабочими. Эти элементы будут собираться на основе склейки, аналогичной сварке. Такие многоэтажные дома будут в 5—10 раз легче. Однако оттого, что это строительство станет легким, еще не значит, что оно не будет капитальным, — капитальность синоним не тяжести, но целесообразности вложения капитала — и только.

Я не против многоэтажного строительства. Я и за малоэтажное парковое строительство, и за четырехэтажное строительство, и за небоскребы порядка 15—25 этажей в парках, и за синтез архитектуры и природы, осуществляемый через новейшую современную технику, средства сообщения и т. п.

Я за решительное изменение процентного содержания природы в городе за счет использования преимуществ, создаваемых метро, автомобилем, в сочетании с вертикальным транспортом — лифтом, самолетом и геликоптером, одинаково способными и призванными освободить место для зелени и природы.

Мы обязаны найти — и найдем! — гармоническое сочетание многоэтажного строительства с основной массой одноэтажного, с природой, с рельефом, зеленью и водой. Мы сумеем сочетать геометризм, прямолинейность автострад с внутренними дорогами жилых кварталов, — геометризм площадей с лиризмом природы. Мы сумеем решить проблему большой экономии, — экономии моральных и физических сил нации.

В Париже в своей мастерской на rue дю Севр Корбюзье показал мне свой «план Вуазено» и модель центра Парижа. По этому плану весь Париж ломался. В центре делался аэродром, окруженный крестообразными небоскребами домов-контур. Жилая часть разбивалась на прямоугольники сплошной застройки различной конфигурации, кажется, двух или трех типов, 8 или 10-этажными домами. Вот и все.

Я сказал Корбюзье:

— Для кого вы спроектировали этот город? При капитализме его ни-

¹ Распространенным типом такой структуры является фанера, где волокна по желанию направлены в сторону наибольшей работы материала.

кто не построи, а при социализме такой город никому не нужен.

В 1932 году, в качестве контр-проекта к реконструкции Москвы, предлагалось строить ее в 30 километрах от города, так называемый «зеленый город», без автомобилей, без метро. Это значило снять вопрос о реконструкции, прикрывшись левой фразой. Проект был справедливо отвергнут.

В 1934 году пошли уже совсем занятые проекты. Дороги, дороги, дороги (в воображении) — городов совсем нет. Вдоль дорог деревянные баночки на ножке и надпись «здесь, моя дорогая, нашей любви позавидуют даже голуби». Все это предлагалось тогда, когда мы не могли строить ни такого количества дорог, ни автомобилей, и когда сомнения в необходимости существования города могли возникнуть как реакция на другой левацкий загиб — на идею домов-«коммун» с «кабинками» для сна. Все это, слава богу, позади.

Москва реконструировалась, и было построено метро, необходимость которого в полной мере оценена только теперь.

Нам нужно собрать воедино все, что мы знаем о войне и мире. Использовать все, что нам дает современное знание, искусство, современная техника, и строить города не для площадей, ансамблей, магистралей или автомобилей, а для людей.

Неверно примененная техника или приспособленная к ненужным ей формам переходит в свою противоположность и мстит. Давайте строить города для человека или еще лучше — для детей, их живет в городе почти столько же, сколько и взрослых. В нашей стране делается для детей столько, сколько нигде в мире, но мы можем сделать еще больше.

Все это было написано мной в июле 1943 года, через полгода я получил статью, опубликованную в июльском номере «World Review» 1943 г., написанную Максом Локк, членом Королевского института британских архитекторов, директором Высшей архитектурной школы и Исследовательской комиссии в Гулле. Статья называется «Революция в планировке городов».

Вот что он пишет:

«Города — это прежде всего люди, а затем уже кирпич и известь. Города должны обладать органическим здоровьем, прежде чем они начнут претендовать на прекрасный архитектурный облик. И, следовательно, в планировке городов общественный диагноз должен предшествовать архитектурной «косметике». Это ведет к нововведениям в двух направлениях: в пользовании научным аналитическим методом и в изучении человеческих и социологических проблем...»

«Исторически — гуманизм возрождения сыграл свою роль; теперь очередь за человечностью, которая выступает на сцену. Этим я хочу сказать, что планировка человеческих жилищ и улиц не может больше базироваться на чисто геометрических принципах гармонии, беспосланных обществу свыше через посредство индивидуального гения архитектора, поддержанного аристократическим покровительством. Создание Версаля — прекрасный пример такого подхода. Ни в коей мере не отворачиваясь от великого наследия классицизма и гуманизма, мы должны признать, что сложность темпа и изменившаяся конфигурация современной жизни требуют совершенно иного, более человеческого и демократического подхода. Города, улицы, здания, в которых люди живут и работают должны быть спланированы и внутри — в формах, отвечающих нуждам самого населения и тех мест, где они живут...»

Люис Мамфорд в «Социальных обоснованиях послевоенного планирования» говорит:

«Жизненные нужды должны быть приняты во внимание в первую очередь», лучшим лозунгом нашего будущего было бы, по его словам, — «дорогу детям и женщинам!»

Одни и те же вопросы волнуют не только нас, но и все страны, подвергшиеся варварскому разрушению. С той разницей, что в остальном мире людям встретится одна и самая главная сложность: в докладе специальной правительственной комиссии Судьи Аутоугта о государственном планировании городов и сельских районов Великобритании говорится:

«Единственной реальной системой является национализация земли. Но ко-

митет не считает возможным предложить это к немедленному осуществлению по следующим причинам...»

В апрельском номере журнала «Popular mechanics» за 1943 год опубликована статья о новом вертолете авиаконструктора Игоря Сикорского. Первая модель была построена им в Киеве в 1908 году, вертолет был похож на настоящий, только не летал. Модель 1943 года, как видно из фотографии, не только летает, но может совершенно неподвижно висеть в воздухе, набирая при этом горючее через шланг из автомобильной колонки, садиться и подниматься не с аэродрома, а из тесноты автомобильной стоянки с такой то «остью», что вертолет, по существу, не нуждается в колесах, и одна из моделей вместо колес снабжена поплавками. Вертолет может двигаться как вперед, так и назад и под любым углом налево и направо. В случае остановки мотора — плавно садиться на землю. Безопасность полета превосходит безопасность поездки на автомобиле (в условиях напряженного американского графика). Стоимость вертолета при массовом производстве не превзойдет стоимости автомобиля, а время, необходимое на обучение управлению рядового гражданина, равняется двум часам.

Когда Осман проектировал свою реконструкцию Парижа, продолжавшуюся осуществляться до самого последнего времени, ни на одном из его чертежей не было и не могло быть автомобиля. Раскройте любой учебник или книжку по планировке городов, и вы увидите площадь Этуаль в виде чертежа: по кругу движутся лошади и только лошади. В 1936 году, когда я смотрел с крыши Триумфальной арки, вокруг Этуаль двигались автомобили и только автомобили. Это сигнал архитекторам. Меняется еще одна среда, определяющая архитектуру. Не сейчас, так завтра она изменится. Так же как автомобиль в США вытеснил лошадь, что 40 лет тому назад казалось невероятным, так вертолет начинает угрожать автомобилю. Вероятно, он его не вытеснит, но встанет рядом. Это такая же «утопия», какой сорок лет назад был автомобиль или массовые налеты на го...

Приходится говорить о необходимости учитывать при планировке городов самолеты и вертолеты тогда, когда еще до нашего сознания не дошло значение автомобиля для той же планировки.

Необходимо, чтобы все это, наконец, дошло до нашего сознания, и не нужно оправдываться тем, что «мы еще автомобиль не учтываем, а вы хотите, чтобы мы учитывали авиацию».

«В современном промышленном мире приблизительно около $\frac{1}{4}$ производимых продуктов не были известны пятьдесят лет тому назад. Большинство из них по существу являются химическими продуктами. В послевоенном мире химическая индустрия будет экспериментировать, строить заводы, внося изменения в мир.

Энергия лимитирует децентрализацию. Децентрализация будет законом дня, как следствие применения авиации. Развитие авиации вынуждает нас к изысканиям всевозможных источников энергии. Это развитие и изыскания дают нам уверенность в том, что в послевоенном мире каждый из нас, и во всяком случае будущие поколения, будут летать на самолете.

Учет военного опыта, учет развития техники толкнут нас к необходимости сделать дом независимой единицей.

Позволим себе набросать некоторые черты будущих домов.

Электричество. Простая дешевая индивидуальная система получения энергии должна быть создана. Не существенно, каким путем будет получена энергия — от солнечной установки, батарей, атомов или радиоактивным путем.

Развитие независимого источника электроэнергии приведет к изменению в проектировании и строительстве. Вместо грубой и дорогой отопительной установки (печь, камин, центральное отопление) будет дешевая электроэнергетическая установка с автоматическим управлением. Завтра радиоустановка будет находиться в том же помещении, что и электроустановка; репродукторы будут находиться в стенах с индивидуальными репродукторами и управлением для каждого члена семьи. В общей комнате будет экран телевидения.

Приготовление пищи. Электроплита завтрашнего дня потребует различной посуды, которая бу-

дет самообогреваться с помощью индукции. Пища будет готовиться путем самонагрева посуды. Специальный термо-контроль времени будет регулировать тепло и время приготовления.

Отопление. Дом будет обогреваться электричеством, хотя это и кажется недопустимым сегодня из-за стоимости. Весьма вероятно, что старинная система подогрева воздуха, в котором находятся наши тела, будет оставлена. Стены из новых материалов, полы, потолки будут нагреваться с помощью индукции до температуры человеческого тела. Таким образом, не будет разницы в температурах между телом человека, находящегося в комнате, с окружающими его поверхностями. Какими будут эти новые конструкционные материалы? Вероятно, будет лучше всего дать ответ, изучив тенденции сегодняшнего дня.

Конструкции из металла и пластика.

Возможности производства легких металлов — магния и алюминия — непрерывно возрастают. Большие панели из алюминия могут служить материалом для стен. Если нам не нравится металл, их можно делать из терморезистивных смол — пластиков. Для конструкции таких стен делается соответствующая металлическая рама. Эта рама засыпается гранулированной терморезистивной смолой и включается ток, после обжига смола расплавляется, переходит в неплавкое состояние и превращается в стойкую монолитную панель. Что еще более важно, такая стена может обладать любыми физико-механическими свойствами.

Водоснабжение. Постоянной проблемой является очистка воды. Вода из больших глубин может быть жесткой. Это не имеет значения (потому что мыло будет предметом прошлого) — новые синтетические составы будут легко мылиться в соленой воде или же будет применяться смягчающий воду аппарат. Прохождение воды через zeолит не только смягчает, но и одновременно стерилизует ее. При регенерации сточных вод (автоматизированной) новые химикаты убивают все органические вещества пропускаемой воды. Другой способ обезвреживания воды может быть осуществлен с помощью электричества.

Краски. Новой будет и окраска стен будущего дома — быстро высыхающие органические составы большой кроющей способности на безвредных растворителях, лишенных запаха.

Новые краски для мебели, полов и текстиля обладают высокой стойкостью против выцветания, что позволит архитекторам безболезненно создавать большие осветительные поверхности. Эти же красящие вещества предохраняют текстиль от моли и росы в случае применения тканей для мебели, стоящей на балконе. Новые синтетические резины — практически неизнашиваемы от воздействия воды. Большое количество и других разнообразных средств может предложить наука архитекторам.

Освещение. Светящиеся материалы, сейчас применяемые в лампах, будут применены в покрытиях стен для усиления ультрафиолетового света. Метилметакрилат (органическое стекло) может проводить свет из центрального распределителя к желаемому источнику. Это ближайшее разрешение проблемы холодного света.

Борьба с насекомыми. Новые химикаты, лишенные запаха, на 100% эффективны против насекомых. Они делают возможным сон под открытым небом, что даст возможность архитекторам по-новому использовать помещение, освободив его от необходимости борьбы с насекомыми (сетки и т. п.).

Будущее в наших руках. Еще будут трудности, но химическая индустрия истратит миллионы, чтобы преодолеть эти трудности.

Это из статьи Ф. У. Ванантверпена, одного из издателей журнала «Индустриальная и инженерная химия».

Пока это еще мечты, но не утопии и не бред. Бредят те архитекторы, которые не видят или не хотят видеть, что в последние годы произошла научная, индустриальная и техническая революция, позволяющая смотреть в будущее.

Наша страна сумела в основном сама произвести колоссальное количество вооружения, снабдить всем необходимым армию и разбить армии, снабженные техникой, производимой почти всей Европой.

В нашей стране были не только найдены новые материалы в огромных

количествах, но, что самое главное,— была решена новая организационная система производства — поток, позволивший на том же предприятии добиться удесятерения производства.

Будущее не фантазия, а реальность,—только к этому будущему ведут три параллельных и трудных дороги.

Перед нами лежат три пути, по которым нам придется двигаться одновременно и параллельно, чтобы восстановить разрушения.

Первый путь — это строить землянки, чинить что можно, дать убежище от непогоды людям, оставшимся совсем без крова. Пристроить что-то к трубе уцелевшей печи. Это будет первая помощь на поле боя. Эту перевязку должны помочь сделать архитекторы, ее сможет сделать всякий, руководствуясь чувством гражданского долга. Здесь нет речи об архитектуре или почти нет.

Всеми средствами, и как можно скорее, мы должны сделать эту перевязку селам, поселкам, городам и живущим там людям нашей родины. Но после первой перевязки в поле раненого бойца со всей возможной скоростью отправляют в госпиталь, где есть все самые современные инструменты, и ученые, и рентген. Ни в одной армии столько бойцов не возвращается в строй здоровыми, как в нашей. Это потому, что быстро, с опасностью для жизни, делают перевязку на поле боя, и потому, что наша медицинская наука и средства находятся на вершине современных возможностей. Нам нужно вслед за землянками, и одновременно с ними, сделать то, что имеет медицина в госпитале и чего еще нет у нас, строителей и архитекторов.

И надо, чтобы народ знал, что землянка — это только первая перевязка. Что все делают для того, чтобы ее быстро снять, тогда кости не срастутся неверно.

Не будем медлить ни с наукой, ни с теорией, ни с индустрией, чтобы потом не пришлось снова ломать неверно сросшиеся костяки городов.

Мы смелы, мы обязаны мечтать, фантазировать, изобретать. Это у нас в России были Ломоносов, Менделеев, Павлов, Попов — дух русского гения. Это у нас в двадцать лет социализма наиболее мощная в Европе тягловая индустрия и наиболее мощное в мире сельское хозяйство. В резуль-

тате этой работы, действительно героически проведенной нашим народом, был Сталинград и все последующее.

Во время войны произошло необычайное проникновение науки во все области индустрии США. Я думаю, что мы обязаны знать эту науку и эту индустрию.

Вернемся, однако, к перечню задач, стоящих перед нами.

Второй наш путь — это улучшить и выправить в проектах сложившиеся приемы постройки избы, хаты, сакли из местных материалов. Проекты надо сделать просто и понятно — для строителей из народа. Надо перейти к массовому производству народного жилища из грунтоблоков, высокопрочного гипса, камышита и других местных материалов, связать с архитектурой эту промежуточную стадию перехода к массовому строительству. И чем ближе будут эти сооружения к архитектурному фольклору и дальше от «классических образцов», тем лучше. Это вторая перевязка и лечение в ближнем тылу.

Третий путь — это создание нового жилища, новой архитектуры, народного единства, путь «большой экономики», «новых сред» и органических принципов.

В начале первый путь будет широк, и в конце его почти не окажется архитектуры. Второй путь будет уже и в конце его возникает архитектура ограниченных возможностей — архитектура с оговорками. С оговорками будут и ее достоинства.

Третий путь в начале будет совсем узок, но в конце его будет архитектура неограниченных возможностей. Это — исследование, хирургическое вмешательство в лабораторной операционной глубокого тыла. На этом пути мы обречены утраченное единство, которым была и снова будет архитектура.

Со временем ширина этих трех путей поменяется местами. Вырастут наши экономические и технические возможности и тем скорее, чем скорее мы расширим этот последний путь. И в конце концов будет только один этот широкий путь реалистической национальной и социалистической архитектуры.

Возникает вопрос: что же, может быть, достаточно просто использовать современную науку и современную технику и, сочетая различные конструкции, мы получим архитектуру? Нет, так мы получим только конструкции с навешенными на нее изображениями. Для того, чтобы эти новые средства из конструкции перешли в архитектуру,— материалы должны быть пластически организованы другими средствами, по другим законам, чем это было с тяжелыми, сжатыми элементами архитектуры прошлых веков (ведь камень хорошо работает на сжатие и плохо на растяжение, именно это в основном определило сложившиеся архитектурные формы). Нужно понять своеобразие новых материалов, хорошо работающих на растяжение, и найти принцип их пластического решения. Иногда это решение будет логическим развитием исторически сложившихся форм, а иногда—их противоположностью. Для этого необходимо посмотреть, чем и как в различное время определялся «стиль» — динамику его развития.

Стиль в каждую эпоху, подчиняясь основной социальной идее, определяется взаимосвязью и взаимозависимостью следующих основных категорий, из которых складывается предмет: 1) назначение, 2) материал, 3) средства производства, 4) конструкция, 5) образ.

И в свою очередь, стиль определял место человека. По стилю мы можем определить место человека в природе, круге идей — его подчиненное или подчиняющее положение.

В некие доисторические времена человек должен был устроить себе пещеру и взять в руки дубину, то есть подумать и связать эти необходимости; или он сначала подумал и воспользовался и тем и другим. Вследствие чего и шерсть и руки приспособились к жилищу и орудия труда и стали видоизменяться. Так или иначе, но это произошло. Первоначальная слабость рук привела к созданию орудия труда, выросшего в индустрию, а вылезшая шерсть — к пещере, выросшей в архитектуру.

И у орудия труда, как и у архитектуры, есть свои циклы развития с последующим переходом на высшую ступень развития. Человек нашел в лесу дубину-палицу. Она примитивна по форме. Она универсальна — это пока единственное орудие,

ею убивают врага, медведя, бьют легонько самку или сына. Это орудие войны, добывания пищи, «укрепления» семьи и воспитания. В архитектуре это соответствует пещере, дольмену, то есть тому, что мы называем архаикой.

В архаике назначение, материал, средства производства и конструкция довлеют над образом, предопределяют его,

Через несколько веков дубина превращается в булаву. У нее удобная, красивой формы ручка, на конце шар с шипами. Форма находится в соответствии с назначением и материалом. Она предназначена для боя и только для боя — специализирована и совершенна — это классика.

В архитектуре это соответствует ордеру Греции V века, владимиро-суздальской архитектуре, скульптурам Фидия и т. п.

В этих вещах все пять начал, упомянутых выше, гармонически сочетаясь, соподчинены между собой и подчинены человеку.

Если бы спросили Фидия, как он создавал свою скульптуру, он, вероятно, ответил бы: «Я подчинил камень форме моего произведения, а форму — камню, я стараюсь гармонически сочетать материал и образ». Так должен прозвучать его ответ, судя по его незабываемым произведениям.

Прошло еще несколько столетий. Изобрели порох. Булава, продержавшись еще несколько времени, потеряла свой смысл и превратилась в символ власти, в скипетр, в жезл полководца. В Московском историческом музее можно видеть жезл маршала Даву (скоро, может быть, увидим и другие жезлы). Это недлинная палочка, покрытая темносиним бархатом, на котором прикреплены золотые украшения. Форма, образ поглотили и первоначальное назначение и материал — это барокко. В архитектуре — это Бернини, Барромини, Виньола¹ — с последующим переходом в современный академизм и даже в эклектику.

В произведениях, представляющих эти направления, четыре начала — назначение, материал, конструкция и средства производства — подчинены

¹ Итальянские архитекторы XVI—XVII вв.

пятому — образу и не только эти начала, но и человек, их создавший, так же подчинен образу, форме, идее.

На вопрос: как вы делаете скульптуру? — Микель-Анджело ответил, а Роден за ним повторил: «Я обрубаю лишнее». Замечательное определение барочного стилистопонимания — проекция образа на материал.

И по сей день мы пытаемся создать архитектуру, «проектируем» образ на материал, на камень, на кирпич, украшаем архитектуру архитектурой вместо того, чтобы делать архитектуру.

В конце этого единоборства между человеком и необходимостью получилось как будто бы так: человек победил и материал, и методы, и конструкцию, и назначение.

Все эти необходимости подчинились идее и стали принимать любую форму и любой образ. Людям показалось что они справились с материалом, полностью его использовали и взяли с него больше нечего.

Были продуманы и использованы такие податливые материалы, как алебастр, принимающие любую форму, вид любого материала, изображающие любую конструкцию (разумеется, в пределах камня), способные путем отливки репродуцировать любые методы производства (резьбу, теску и т. п.).

И вот тут-то выяснилось главное.

Для того чтобы получилась партия в шахматы, необходимо иметь партнера, и чем сильнее партнер, тем красивее партия. В архитектуре получилась игра в поддавки.

Материал отступил, мы, архитекторы, не победили, а попали в окружение. Опираясь на податливый материал, мы потеряли точку опоры, потеряли материал, а вместе с ним и ощущение архитектуры. Со времени барокко возникают архитектурные школы и академии и начинается культ чертежа. С материалом все меньше и меньше приходится иметь дела — да и зачем? Он все равно примет любую форму.

Обращаясь к истории архитектуры, видно, как, несмотря на медленность развития конструктивных форм (столетия), на первом этапе развития пластическая форма всегда отстает от конструктивного развития. Это архаик. Обе формы сливаются, пересекают друг друга — это классика и, наконец, пластическая форма обгоняет остановившееся развитие конструктивной формы, отрывается и начинает суще-

ствовать самостоятельно. Это барокко. Новая конструктивная форма, возникшая на высшей ступени развития, принимает на себя эту оторвавшуюся самостоятельно существующую форму. Это академизм. Затем новая вещь освобождается от академического убора, и весь процесс начинается сначала.

Почему мы боимся нового в архитектуре? Потому что закон взаимодействия между идеальным содержанием, теорией и материалом, а главное — экономикой и методом строительства не был учтен конструктивизмом. Это нужно понять для того, чтобы открыть путь к новому.

Главный грех практики конструктивизма — не красивые и неудобные дома. Весь ужас в том, что конструктивизм сыграл роль вакцины по отношению ко всему новому в архитектуре, — и в планировке, и в материалах, и в форме, и в теории, и в практике, и в чем угодно.

Принцип действия этой вакцины следующий.

Конструктивизм плох и некрасив. Конструктивизм — новая архитектура. Все новое — это конструктивизм, — это плохо и некрасиво, — поэтому вернемся к красивым, испытанным старым стилям.

Надо преодолеть все эти помехи. Всем, кто хочет двигаться вперед, создавать новое, нужно сделать один кардинальный вывод.

Никогда не проектировать образ, относящийся к одному материалу, на другой, из которого он не вытекает, — ни в целом, ни в деталях, ни в конструкции, ни в форме.

Вместе с этим всегда стараться извлечь из старых материалов все то новое, что из них можно извлечь, привлекая для этого самые современные научные представления (например, по-прежнему применить кирпич, как это было сделано в сводах двойной кривизны).

Никогда не предлагать к немедленному осуществлению, пусть очень верную в своей основе, мысль, если для ее претворения нет необходимых технических и экономических предпосылок, — ничего, кроме левацкого загиба и компрометации предложения, не получится.

Вместе с тем всегда добиваться экспериментальной проверки нового предложения, если вы убеждены в его правильности (например, как это

было сделано с поточно-скоростным методом).

Не бойтесь сделать свой дом современным и красивым, — плох тот принцип, который будет мешать это делать, но разберитесь, что мешает — принцип или неуменье.

Только те ошибки полезны, из которых делаются выводы, — причем выводы правильные.

Сделав эти выводы, не нужно бояться двигаться дальше и делать новое.

Пройдя через «архаику конструктивизма», освободившись от академизма, нам предстоит притти к новому большому стилю современности, стилю социализма.

В наше время, по сравнению с историческими эпохами, невероятно «убыстрилась» скорость развития конструктивной формы. Скорость развития пластической формы увеличилась в меньшей степени (автомобилю потребовалось пятьдесят лет, чтобы найти свою классическую форму!). Нужно ускорить этот процесс, иначе мы, при жизни современного поколения, не выберем из академизма, не перешагнем через архаику конструктивизма, не подойдем к нашей социалистической классике. Необходимо сконцентрировать силы на выработку, развитии, селекции некоторого количества типов сооружений, то есть проделать ту же работу, что проделали и авиация, найдя моноплан, и античная архитектура, найдя периптер (то есть храм, окруженный колоннадой, что в переводе значит «окруженный крыльями»), и каждая народная архитектура, найдя тип своего жилища. Это должно быть не искусственным ограничением типов, а естественным отбором.

Для такого же естественного отбора нужна наука о жилище, об общественном здании, о кино и т. п. На них, этих селекционных типах, нужно производить классическое скрещивание, приведение архитектуры в единство. И в результате такой селекции наступит новое многообразие из комбинаций.

Именно благодаря тому, что все греческие храмы, окруженные колоннами, на первый взгляд (как для европейца китайцы) на одно лицо, — мог родиться неповторимый Парфенон.

В естественном отборе заложено единство стиля нашей эпохи. Не

заимствовать у любой другой эпохи, то есть строить сооружение в таком или другом «стиле», а строить в органическом стиле, рожденном нашей эпохой.

Как и на каком принципе будет сочетаться новая найденная тектоника с изображением? Как и тектоника и изображения перейдут в архитектуру? Так же, как это было в античной архитектуре Греции, где изображения никогда не изображали архитектуру, а людей, героев, цветы и плоды, реальных или воображаемых и все же реальных, и через образ и пластику связанных с архитектурой.

Изображения располагались в свободном пространстве тимпана (в свободном треугольнике фронтона) между столпий триглифов. У греков колонна могла превратиться в изображение фигуры человека, в кариатиду, чтобы украсить сооружение, но никогда не теряла тектонического смысла и не превращалась в украшение, в «скульптурное изображение колонны», как у римлян.

Именно так принципиально, но в другом образе и трактовке должно войти изображение в нашу архитектуру, и мы будем изображать свои цветы, а не аканты, и своих людей и героев, а не кентавров и геркулесов, и будем делать их во всем полнокровии цвета. Это наиболее близкий принцип — принцип сочетания тектоники, пластически осознанной конструкции и неархитектурных изображений.

В качестве переходного к этому принципу будет существовать и другой близкий к нему принцип, на котором введено изображение в архитектуру. Это принцип готики. Это принцип русской национальной архитектуры. На примере Нерли видно, как, не нарушая тектонического единства, в сооружение входит, наряду с изображением человеческих фигур, цветов, плодов и зверей — изображенные архитектурных деталей, доведенных до символа. Они тонки, эти колонки по углам в Нерли, и ничего не могут нести, это не изображения конструктивных элементов — это символ архитектурной преемственности.

¹ Шедевр русской и мировой архитектуры XI в. во Владимире Суздальском.

Это принцип символически-архитектурных изображений.

Третий принцип — ренессансный — принцип украшения реально существующей конструкции стены изображением несуществующим, конструкции ордерной системы или ее частей (пилястрами, карнизами) — изображениями, которые могли бы быть реальной конструкции, если бы ее действительно осуществили.

Это принцип декоративно-архитектурных изображений, принцип противоположный тектоническому пониманию архитектуры, и тем противоположнее, чем ярче он проявлен.

Четвертый принцип — это принцип итальянского Барокко, римских триумфальных арок, ордера Колизея — независимое существование от действительной арочной конструкции сооружения объемного, материального изображения неработающей конструктивной ордерной системы — скульптура конструкции, которая когда-то была конструкцией и могла бы быть конструкцией. Это уже не изображение, а декорация, — скульптура архитектуры, конструкция, превратившаяся в украшения. Это принцип декоративно-скульптурного изображения архитектуры — принцип атектоничный и совершенно ничего общего с архитектурой не имеющий.

Декорация это не синоним, а противоположность архитектуры.

И это только вехи. Сложность постижения комплекса законов, определяющих архитектуру, так же велика, как сила ее потрясающего воздействия.

Мне хочется сказать несколько слов о Парфеноне, и о том могучем воздействии, которое может оказать архитектура на человека. Я испытал это на себе несколько лет назад. Потом я понял, что так может воздействовать не только Парфенон, но и собор в Коломенском, и Нерль.

У подножия Акрополя — полукруглая площадь, окруженная деревьями, и почти без домов. Под деревьями, за столиком кафе, сидел мой спутник и пил кофе. Я спросил, не пойдет ли он со мной наверх к Парфенону. Он сказал, что ему и отсюда его достаточно хорошо видно. Прямо перед кафе, по ту сторону площади, стояла огромная желтая, прорезан-

ная арками, стена театра Ирода Аттики, над ней возвышалась голубая скала Акрополя и над ней, на фоне совершенно синего неба — виднелся выступающий, висящий над обрывом Акропольской скалы, белый, переходящий в золотисто-оранжевый, видимый снизу, угол Парфенона.

Я поднялся по зигзагам подхода, по лестнице Пропилеев, прошел через портик и остановился. Прямо и несколько вправо, на вздымающейся бугром, голубой, мраморной, покрытой трещинами скале — площадка Акрополя, как из вскипающих волн, выростал и плыл на меня Парфенон.

Я не помню, сколько времени я простоял неподвижно.

Сейчас, когда я пишу эти строки, спустя несколько лет, меня снова охватывает то же волнение — чувство потрясения прекрасным.

Парфенон, оставаясь неизменным, непрерывно менялся. Когда я пытался сосредоточиться и остановить свой взгляд на углу или на тимпане фронтона, через несколько минут я ловил себя на том, что мой взгляд скользит по форме и за формой уходит, как бы огибая его, и, завершив круг, возвращается на старое место, чтобы проделать другой путь, в другом направлении. Было такое ощущение, как будто бы Парфенон ощупываешь руками, держишь в руках и не можешь схватить. Что он не прямоугольный, а круглый, больше, чем сфера — сверхсфера четвертого измерения. Я подошел ближе, я обошел его и вошел внутрь. Я пробыл около него, в нем и с ним целый день.

Солнце садилось в море. Тени легли совершенно горизонтально, параллельно швам кладки мраморных стен Эрехтэйона.

Под портиком Парфенона сгустились зеленые тени.

Последний раз скользнул красноватый блеск и погас.

Парфенон умер. Вместе с солнцем. До следующего дня.

Я спустился с Акрополя, пересек площадь. Подошел к столику, за которым утром сидел мой спутник. Весь столик был заставлен пустыми чашками из-под турецкого кофе. Официант сказал, что мосье только что ушел.

Возвращаясь в гостиницу, я думал, что в конце концов он видел столько же, сколько и я, — за своим столиком. Если не больше.

На следующий день я опять пошел на Акрополь. И так много дней подряд. И каждый раз я уходил с тем же чувством, что я чего-то не видел, что мне вообще ничего не удалось увидеть, что храм все время ускользает от меня. И что я ни разу по-настоящему «не держал его в руках», и что вообще ничего не было. И не потому, что Парфенон нереален, — он потрясающе реален, — только его реальность так прекрасна, что не веришь в то, что это есть и было.

Осталось только чувство гордости за человечество. Глядя на Парфенон, я сам делался большим, незаслуженно значительным и лучшим, чем я действительно был. Больше ничего.

Почему, когда мы хотим выделить то, что обуславливает жизнь, это выделенное делается мертвым? Одни биологи говорят: то, что дает жизнь (хотя бы тем же витаминам) по величине — не больше электрона, ускользает при выделении. Другие — что дело не в этом. Если взять часы и истолочь их в ступке, произвести анализ этого порошка и потом на основе этого анализа сделать такой же порошок и, высыпав его на стол, спрашивать, который час, не надо удивляться отсутствию ответа. Именно так получается, когда на основе анализа мы стараемся воссоздать живой организм. Они говорят, что все дело в порядке расположения частиц. Именно это обуславливает жизнь.

Я не знаю, как обстоит дело с «молекулой жизни». Я знаю, что порядок расположения частей и частиц имеет колоссальное значение и, если взять и растолочь те ориентированные структуры, над которыми я работаю и которые мы строим в нашей лаборатории в Академии наук, материалы, обладающие колоссальной удельной прочностью, в десятки раз превосходящей сталь, и сделать их анализ, то окажется, что это обычное вещество и прочность его будет обычной, а не в сто раз большей, чем вещество, из которого они сделаны, потому что их прочность обусловлена изменением порядка расположения частиц.

Из ориентированного материала можно сделать невероятно прочные вещи, но будут ли они живыми только поэтому, — я не думаю.

Академику Насонову удалось вырастить у собаки отрезанную ногу.

В ней были кости, мышцы и даже нервы. Она была покрыта кожей и шерстью. И не действовала.

Тысячи раз толкли архитектуру Греции в ступе теоретических книг. Затем пробовали восстановить порядок и, следуя, как казалось авторам, этому порядку, — строили и получали мертвые слепки. Еще более мертвые, чем мертв Тезейон, стоящий недалеко от Акрополя, выстроенный в то же время, из того же материала, на том же композиционном принципе.

Рука гения, построившего Парфенон, на несколько миллиметров проникла в камень, сблизила и поставила, где это было необходимо, колонны, наклонила их, изогнула антаблемент и подняла кверху углы фронтона, и ожили и материал, и конструкция, и скульптура, и периптер, и скала, на которой он стоит, — и сделала его живым. И заставила на протяжении 2500 лет людей, смотрящих на него и вспоминающих о нем, переживать полную, сложнейшую гамму ощущений от эпического спокойствия — до глубочайшего потрясения прекрасным. А Тезейон остался мертвым.

Я не собираюсь толочь Парфенон в ступе словесного или цифрового анализа. Это уже проделано во множестве книг. Мне только хочется сказать о нем самое общее и самое главное, — что он вас не подавляет ни размером, ни тяжестью, ни величием, — скорее вы подавлены собственным незаслуженным величием, ощущаемым в его присутствии. Греки говорили: «Человек человеку бог», — вот это и чувствуешь, глядя на Парфенон.

Вы не ломаете себе голову, откуда греки приволокли такие огромные камни и как они их взгромоздили наверх, как ловко, тонко и мелко они разработали материал. Ничего этого нет. Все сделанное — и размер, и материал, и его вес, и обработка в пределах реальных сил человека, Человека с большой буквы. Кроме возможности повторения Парфенона или даже исчерпывающего его объяснения. Все уверенно, спокойно стоит на земле, соразмерно облегчаясь кверху. Пластическое выражение веса материала не превосходит его физической тяжести и прочности, не слишком велико и соразмерно человеческим силам и человеческому восприятию. В масштабе, приподнятого на котурны,

несколько преувеличенного человека. Такого, какими были боги Греции.

Основные категории классического стиля, которые я пытался выразить в мыслимом ответе Фидия — «я старался приблизить форму к камню, а камень к форме», — могут быть дополнены словами — и к человеческим силам и размерам. Все находится в гармонии само с собой, с природой и человеком, и не превосходит его сил ни в создании, ни в постижении техники создания. Только создавший его дух, воплотившийся в потрясающий реализм образа, остается непостижимым и заставляет пытаться подняться до него — для постижения.

Что такое архитектура? Это не стиль — ренессанс или барокко — это не дом, и даже не города. Все это только части огромного явления, в которых она воплощается.

Архитектура — это среда, в которой человечество существует, среди которой оно противостоит природе и связывает человека с природой, которую оно создает, чтобы жить, и оставляет потомкам, как наследство, как улитка раковину — иногда жемчужную. С той разницей, что у раковины — жемчужина это результат болезни, а у человечества — результат здоровья и огромной созидательной силы и счастья. По качеству жемчужин потомки судят об этом счастье. В большие эпохи люди создают свои большие перламутровые жемчужины, а в переходные эпохи сменяют стили — академические раки-отшельники залегают в пустые раковины, сживаются с ними, выдают их за свои и начинают делать подделки на базе «высокой техники».

Постараемся создать свои и настоящие.

Все человеческие знания, открытия пересекаются, материализуются и воплощаются в архитектуре. Машин стареют, хлеб съедается, платье изнашивается, люди умирают, — остаются города и книги, написанные в этих городах и хранимые в зданиях библиотек.

В городах и домах люди рождаются, живут, любят, работают и умирают. Их берут штурмом, эти города. Их именами называют дивизии. Имена городов пишутся на знаменах полков и делаются синонимами воинской доблести, славы и чести. И их жители выходят на защиту

своих городов, когда к ним приближается враг. И отдают за них свою жизнь — смело и просто. А те, что остались живы, прогнав врага, снова начинают их строить. Города — это интеграл человеческой деятельности, материализованной в архитектуре. В них есть все — от яслей до памятников погибшим героям.

Архитектура это и среда и образ. Тема этого образа в наши дни и в нашей стране — это тема человека. О простом, рядовом человеке, таком значительном в своей простоте.

Вечер. 26-я годовщина Красной Армии в госпитале одной из авиационных частей. Зал на две трети заполнен сидящими слушателями. Остальные лежат на носилках, носилки стоят впереди стульев. Госпиталь находится за городом. Выступают люди из района, с завода, расположенного рядом, из колхозов. Раненый офицер. Врач. И они очень просто говорят о том, что их коллективы сделали для того, чтобы выиграть войну. Им аплодируют горячо и искренно. Два одоруких раненых офицера аплодировали вдвоем, своими двумя руками. На этом вечере я понял, почему у нас оказалось оружие, хлеб, герои... Почему оказалась выигранной эта битва не только за нашу родину, но и за будущее всего человечества. Наша страна всё дала присутствующим здесь в зале, отдавшим свои руки, ноги, здоровье, и сотням тысяч отсутствующих, отдавшим свои жизни, и миллионам других, отдавшим все свои силы — и мне в том числе. Весь народ, в целом, и тот, кто им руководит, дали своим примером и своими действиями самое большое, что можно дать. Больше, чем любые материальные ценности, — дали чувство беззаветной преданности, самопожертвования и единство цели. Чувство, которым, насколько я видел, в таком подавляющем, массовом, всеобщем количестве — не обладает ни одна нация.

Так вот для нации, состоящей из таких людей, умеющих всем пожертвовать, и именно потому, и во имя настоящего и будущего нации, каждого человека и его потомков, — нужно скрестить все знания, все достижения человечества, чтобы дать и человеческий уют, и лиризм, и здоровье, и радость, и счастье и пафос памятников классической простоты. Чтобы эти простые люди, так про-

сто отдавшие свои силы и жизни, жили счастливо, а их потомки увидели по оставшемуся наследству—домам и городам, дорогам и садам,— что их отцы и деды были смелы и счастливы.

Радость и счастье нашего народа — тема архитектуры. Единство всего, что знает и делает человек и человечество — средства архитектуры. Лиризм и громopodobный пафос артиллерийского салюта — образ нашей

архитектуры, потому что это образ нашего бессмертного Народа.

Архитектуру для нашего народа нам, архитекторам и не архитекторам, надо создать. Мы не имеем права сделать ее плохо ни для современников, ни для потомков; делать не со всею мягкостью, не во всю силу и не во весь голос. И не мы одни ее будем делать, ее будет делать весь народ,— так же как войну и победу.

МАРИЭТТА ШАГИНЯН
ПРОРОЧЕСКИЕ СТРОКИ

В наследстве гениев все изучено — по крайней мере так кажется человечеству. Но приходит эпоха, когда повторяются исторические положения, повторяются по-новому, но все же в каком-то внешнем сходстве с прошлым. И то, что высказывал гений в те ушедшие времена, становится вдруг необычайно близким новому времени. Так случилось с одним текстом Гёте. Все его знали, и никто никогда не замечал. Написан он был в 1814 году, сразу после Венского конгресса, который подвел политические итоги победы над Наполеоном. Печатался этот текст во всех немецких собраниях сочинений Гёте, начиная с 1833 года, в разделе смешанных стихотворений, названных Гёте «Ксениями». Редакторы «юбилейного издания» 1932 г.¹, как я уже имела случай указывать в печати, несправедливо исключили из этого издания как раз «Ксени» и дидактические стихи Гёте. Отсюда — незнание советским читателем упомянутого выше текста. Он был несколько десятков лет назад переведен на русский язык и мельком упомянут в одном из старых журналов. Недавно, в этом же очень несовершенном переводе его процитировал без комментариев академик Тарле в «Известиях Академии наук». Но по-настоящему воскресли этот текст двое со-

ветских ученых, историки Д. Г. Заидберг и Швец.

Прежде чем привести для читателя это пророческое стихотворение, остановимся подробнее на исторических условиях, при которых оно было создано.

Старая литературная традиция завенчала нам представление о Гёте как о принципиальном стороннике «аполитичности», и эту традицию никто еще серьезно не пересматривал. Помню, с каким изумлением увидела я в Веймаре, в 1914 году, на стене возле спальни Гёте, три изумительные таблицы¹, могшие, по сути дела, послужить ключом к его вкусу к политике. Старый Гёте, почти на пороге смерти, в 1828 году, заинтересовался тринадцатую тогдашними событиями политического характера. Он записал их на первую таблицу и отметил их последовательное развитие в годы 1829 и 1830 на двух следующих таблицах. И тут, в политике, интерес его был прикован к моменту изменения, к развитию, к переходу из одного состояния в другое, — совершенно так же, как и во всех тех областях естествознания, которыми он увлекался. Вот это внимание к движению, к развитию и изменению во времени политического события было присуще не только старому, но и зрелому Гёте, и подчас оно удивительно обостряло его интуицию.

¹ Гёте, собрание сочинений в 13 томах. Юбилейное издание. Государственное издательство художественной литературы. Москва, 1932.

¹ Об этих таблицах я рассказываю в своей старой книге «Путешествие в Веймар». Государственное издательство, 1923, стр. 104.

У нас сохранилось свидетельство совершенно необычайной политической прозорливости Гёте. Когда Наполеон только что предпринял свое нападение на Россию в 1812 году и лавина его огромной, закаленной в боях, прославившей непобедимой армии обрушилась на русскую территорию, в европейских бюргерских кругах только и было разговору, что о будущей «универсальной монархии» Наполеона, сравниваемой с апокалиптическим «царством зверя». Всеобщий ужас перед нею разделяла и семья иенского книгопродавца Фроманна. Гёте, гостивший тогда у Фроманнов, с улыбкой сказал в ответ на все такие разговоры:

«Погодите, погодите, еще много ли его солдат вернется оттуда!»¹

Но с еще большим вниманием, нежели за судьбой Наполеона, следил Гёте за теми неуловимыми, неразличимыми пока для историков изменениями в психологии немецкого народа, которые наступили после Венского конгресса. Оттремели войны, перестало бряцать оружие, и в наступившей тишине стало слышнее и виднее то самодовольное и самовлюбленное любованье, те черточки прославляющего себя национализма, которые в немецком народе, спустя сотню с лишним лет, привели к словечку «наци». Складывались эти черты как будто из пустячков, но орлиный взгляд Гёте пронизал эти пустячки. Гёте всегда любил обмен и взаимодействие культур, он был одним из основоположников самого понятия «мировая литература». С огромным вниманием относился он к чужому. Можно целое исследование написать о Гёте-переводчике. Кроме древних литератур, он переводил с английского — Байрона (отрывки из Дон-Жуана и Манфреда), с французского Дидро («Племянник Рамо»), с итальянского «Жизнеописание Бенвенуто Челлини»; он занимался сербской и литовской поэзией, писал в журналах о народном итальянском юморе Лазарелли, о стычке классической и романтической школы у Манцони, и принципиально выдвигал и ценил пригод-

¹ «Fromann'sche Haus», 1870: «Wartet erst ab, wie viele davon zurückkommen werden» Цитирую по изданию Hempel'я, том II, стр. 185, примечание к 18-му явлению Эпеменида.

ность немецкого языка для переводов с чужих языков.

А тут вдруг появилось целое поколение немцев.—«патриотические» молодые люди, резко противоположные отцам. Подхлестанные бряцанием оружия, наслушавшиеся «грома побед», нежестившие, недоучившиеся, они нагло отвергали и отбрасывали все не-немецкое. В лексиконе появилось особое выражение «ун-дейтш», не-немец. Этим словом стали определяться в статистических отчетах и учебниках чужие народы. Из немецкого словаря принялись яростно изгонять все французское, общепринятое с XVIII века в языках европейских стран, даже галантные и «галантерейные» термины, такие, как «пудра», «бужет», «одеколон», «сашэ». Ревнителю чистоты «немецкого слова», такие же топорные, скудоумные, как фашистские ревнителю «чистоты немецкой крови», объявили войну всем стихотворным мерам, кроме «истинно-германского» лозунгами «патриотзма», Гёте видел начавшееся роковое стремление изолировать немцев от общего развития, внушить им вреднейшую идею избранности, единственности, он видел гангренозные пятна злокачественной автаркии.

Вольным, «истинно-германским», гансо-саксовским стихом записывает он иронически в тетрадь:

Спасибо, что покой добыт!
Тиран на острове сидит!
Но обезврежен Наполеон,
А вместо прежнего — их миллион,
Германию чистим со всех сторон,
Вокруг нее ставим чумный кордон,
Чтоб не проскочил бы, избави бог,
И хвостик чужого к нам на порог.
На лаврах должны мы почивать
И только самих себя познавать!¹

Однако немецкая автаркия, развившаяся в преследовании всего чужого, в себялюбии, в диком огулбении нравов, имела под собой и более реальную, более важную почву: все более растущий прусский милитаризм.

¹ Hempel, Band 1, стр. 280. Перевод здесь и ниже мой собственный.

Не только чужие дворы, но и маленькие немецкие князьки почувствовали зубастую прусскую шуку. В том же 1814 году веймарский герцог Карл-Август писал в частном письме: «...У Наполеона многому научились, и между прочим — нахальству... Так как все письма распечатываются, то нельзя высказаться полнее»¹.

О чем же так «приватно», так жалобно пишет правитель Саксонии? Кто это распечатывает письма главы государства, как самые обыкновенные обывательские? Дело в том, что Пруссия оттяпала себе на Венском конгрессе почти всю Саксонию, не спросив на это ни малейшего разрешения у саксонцев; и она же окружила остальные немецкие княжества целой сетью шпионажа. Не один только правитель Саксонии, но и мирные саксонские граждане злобствовали на прусскую агрессию. Кроткий саксонец Кирмс писал своему другу, пруссаку Иффлянду:

«То, что ваш король забрал у нашего герцога все его родовое наследие — это очень нехорошо... Захватить наследство всей Саксонии!!!»²

В те весьма беспокойные времена, когда прусская рука хватала за горло на очень далеком расстоянии и сами герцоги не могли надеяться на сохранность своих писем, саксонец мог разражаться против пруссака только тремя восклицательными знаками и нравоучительной сентенцией: «Это очень нехорошо».

Гёте видел не только «безобидные пустячки» немецкой автаркии. Он видел и растущее пруссачество, крепнущее самовластье Берлина, того Берлина, который он всегда недолюбливал и для жизни в котором, по образному выражению, употребленному им в разговоре с Эккерманом, считал нужным «отрастить волосы на

зубах»¹, то есть превратиться в зверя. Даже самые тонкие политики не угадывали в немецком народе того, что с ужасом и отвращением прозревал в нем Гёте. Когда читаешь сейчас восемь коротких строк, написанных им в год Венского конгресса, испытываешь настоящее потрясение.

Пусть читатель сам судит. Создавая к празднеству в Вене торжественное представление-аллегорию, под названием «Пробуждение Эпеменида», Гёте написал для него заключительные восьмистишие, которое, однако же, в праздничный текст не вошло, а было потом напечатано, как выше я указала, в отделе «смешанных стихотворений». Вот оно:

Будь проклят, кто, подавшись лжи,
Поправ сверхнагло стыд,
Что корсиканец совершил,
Как немец, совершит!
Пусть знает он и с ним весь сброд,
Что неотступен суд;
И ни насилье их, ни гнет,
От мшенья не спасут!

(Перевод сделан по тексту берлинского издания Хемпеля, «просмотренного и сверенного по наилучшим источникам», — том III, стр. 281).

Гёте — мудрый сын человечества — почувствовал и познал грозную опасность — манию захватничества, зародившуюся, как гангрена, в теле Германии. Он испугался за свой народ, он захотел остеречь его. И уже старый, возвысившийся над всем личным, за несколько лет до смерти он во весь голос проклял того, кто олицетворит собой в будущем эту гангрену. Он проклял немца, который вздумал бы повторить в мире насилье, совершенное французом с Корсики.

И проклятие Гёте свершилось над Гитлером!

¹ Hempel, Band III, стр. 281.

² Hempel, Band III, стр. 281.

¹ Gespräche, т. 1, стр. 71.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Латух - В. ПЕРЦОВ - *космополит*
ПОДВИГ И ГЕРОЙ

... Такую страну
и сравнивать не с чем, —
где еще
мыслимы
И думаю я подобные вещи?
обо всем
как о чуде,
Такое настало,
а что еще будет?
В. Маяковский

1

Присмотритесь внимательно к литературе эпохи Отечественной войны, и вы увидите, что вся она воодушевлена желанием воссоздать героический характер народа-победителя. И если главное в решении этой задачи еще впереди, то уже сделанное или даже едва намеченное свидетельствует о том, что мы вправе ожидать от наших художников слова таких произведений, в которых упорный и великодушный характер народа, отстаившего свою честь и жизнь, будет представлен во множестве ярких лиц; что дела, которым нет примера, воплощены будут в неповторимых образах — притягательно интересных, обаятельно самобытных.

В литературе, рождающейся из этой войны, волевой, героический характер становится господствующим. Вокруг него группируется все богатство нравов и типов, которые должна отразить литература. Разве нельзя считать прологом к новому периоду в ее развитии те наиболее значительные произведения, которые уже успели привлечь к себе внимание читателя?

Предвестники нового, эти произведения развивают лучшее в истории советской литературы, отразившей историю советского общества. В предвоенные годы у миллионов наших людей, вместе с ростом чувства

ответственности за порученное им дело, за государство, выросла и вера в себя, в свои силы, воспиталось отчетливое сознание своего человеческого достоинства. Социалистическая система взрастила личность по своему образу и подобию. Личный успех и героический подвиг означают у нас торжество коллектива, системы. Но для художника эпоха и система раскрываются в конкретных человеческих характерах. Вне характера нет ни образа, ни философии эпохи, потому что характер в искусстве — это обобщение, даже тогда, когда он прямо списан с природы, с живого лица, реально существующего или всем известного. Если обобщение правдиво и конкретно, то оно поглощает и это лицо, и вместе с ним множество других, впервые прославленных в нем. Так художественный образ становится свидетельством моральных сил миллионов.

Есть в советской литературе одна книга, значение которой в дни войны стало еще больше, чем было в дни мира. Это — «Как закалялась сталь» Николая Островского. Влияние ее огромно. В годы Отечественной войны множество советских людей узнало себя в образе Павла Корчагина, им измерило свои моральные возможности. Подвиг воли и самодисциплины Корчагина в критические моменты войны стал как бы пределом для всех

наших людей. Но пределом возможного, достигаемого, потому что в подвиге Павла Корчагина выразилось идейное торжество советской системы, а не только личный героизм, моральное превосходство нашей советской эпохи, а не только индивидуальное свойство характера.

Однако в образе Корчагина и в самой исключительности его подвига мы видим прежде всего личность — и поражаемся ей. Удивительный рост личности дает возможность судить о величии исторической эпохи, о великолепном росте того поколения, которое выдвинуло и воспитало героя «Как закалялась сталь».

Известно, что в книге Н. Островского немало художественных недостатков. В чем же тогда секрет удивительного воздействия ее на наших людей? В конкретности героя, в том, что его подвиг мы ощущаем не отвлеченно, а как проявление роста личности, как выражение характера. Описания природы в романе не столь живописны и красочны, как нам того хотелось бы, драматические сцены не столь пластичны, не вполне отвечают законам драматургии, а в соотношении отдельных частей произведения нет гармонии. Но если, несмотря на все это, при чтении у вас возникает и крепнет уверенность, что такой человек, как герой романа, живет и существует, действует и поступает, говорит и думает именно так, как герой романа, то это значит, что художественный эффект, наиболее важный для автора и для читателя, достигнут. Художественность книги Н. Островского в том, что, читая ее, мы верим: за ее пределами есть живое лицо, независимое от автора, который о нем рассказывает. Естественно, что такой герой в подходящий исторический момент поднимается со страниц книги и шагает в жизнь, как это и случилось с Корчагиным в дни Отечественной войны¹.

И можно сказать, что Корчагин, воплотивший в себе лучшие черты и традиции наших людей, прошедших школу гражданской войны и строительства, — несгибаемую волю и страстный гуманизм, Корчагин, утвердивший идею преодоления страданий как самую душу героини, стал про-

образом тех людей, с которыми мы встретились в лучших произведениях, созданных за время этой великой войны.

II

Повесть В. Гроссмана «Народ бессмертен» появилась в журнале «Знамя» осенью 1942 года. Эта библиографическая справка выглядит сегодня, как и всякая другая дата в литературной хронике. Но вспомните, читатель, то время, все напряжение и грозная тоска которого выражались в одном слове: «Сталинград». Враг чувствовал себя триумфатором. От тяжелых военных неудач смертельная тревога сжимала сердце. Одну непреклонную задачу поставил тогда товарищ Сталин перед всей нашей армией: овладеть военным мастерством. Пьеса А. Корнейчука «Фронт» печаталась в те дни на страницах «Правды» — случай для пьесы небывалый! С резкостью беспримерной выставил автор «Фронта» недостатки командующего Горюлова — заслуженного командира в эпоху гражданской войны, но с тех пор отставшего от жизни, окостеневшего в рамках старого боевого опыта. Самодовольство, нежелание учиться новому, хвастовство заклеил Корнейчук в этом типе, который в первые месяцы войны был еще в нашей армии, и стал нарицательным именем благодаря пьесе Корнейчука. Мы увидели в ней и Огнева — передового генерала сталинской школы, мастера и творца победы над сильным, оснащенным новейшей техникой противником.

Известно, какую огромную роль сыграла в то время пьеса «Фронт». В своей повести «Народ бессмертен» Василий Гроссман едва ли не предвосхитил тему «Фронта». Но в фигурах Богарева и Мерцалова не было той публицистической остроты, которая сообщила персонажам «Фронта» непосредственную поучительность дурного и хорошего примера. Сила повести Василия Гроссмана была в другом — в образе лирического героя, который вобрал в себя весь драматизм волновавших нас в то время чувств.

Тема «Фронта» повела за собой многих авторов. Целый ряд произведений о наших людях на этой войне посвящен был выяснению вопроса о том, как они стали умелыми воинами, мастерами победы. Однако, в отличие

¹ См. С. Трегуб, И. Бачелис. «Счастье Корчагина», изд. «Молодая Гвардия», 1945 г.

этот тот подход к решению задачи, который намечался в рассказах Л. Соболева и В. Кожевникова — рассказах о силе духа наших людей, такие произведения, как, например, «Дни и ночи» К. Симонова и «Офицер флота» А. Крона, отчасти и повесть А. Бека «Волоколамское шоссе», можно назвать рассказами о военном мастерстве или, если хотите, военно-функциональными рассказами, потому что их герой представлен, по преимуществу, при исполнении своих служебных обязанностей, в своей военной функции. Слов нет, такой подход очень важен. Но, даже с точки зрения решения военной задачи, герой этих произведений остался нераскрытым или раскрылся далеко неполно.

Собранность воли, единство мысли и действия у человека, стремящегося к определенной цели, не означает, конечно, узости, ограниченности его духовного мира, не исключает всего многообразия самого процесса жизни, в котором личность растет, изменяется, радуется или страдает, проявляет себя или, как выразился Маркс, «опредмечивает» себя в деле, в творчестве.

Если решающим фактором на войне был и остается человек, то именно как человек, как личность, а не только как мастер военного дела. От каждого участника этой войны с врагом, сильным и коварным, требовалось уважение к военному делу, военное мастерство и умение обращаться с новым сложным оружием. Всеми этому учил и всего этого требовал от наших людей товарищ Сталин. Но если нет умения обращаться с самим собой, то самое лучшее оружие падает из рук. На вооружение в этой войне принято было новое небывалое оружие — личность, воспитанная советским социалистическим строем, отстаивающая свою свободную родину от вражеского нашествия. Такой силы не знала история России, не знала история человечества. Наша армия — победительница — вышла из Отечественной войны как сильнейшая кадровая армия. Наши люди овладели новейшей военной техникой, изучили в совершенстве дело взаимодействия разных родов войск, стали мастерами вожделения войск. Но разве всего этого они достигли в столь краткий срок не потому, что они были советскими

людьми и стали ими в еще большей степени, закалившись в тягчайших испытаниях войны?

«Поднять наинизшие нити к историческому творчеству» — в этом видел Ленин одну из основных задач советского государства. Эта огромная работа, начатая Лениным, дала свой плод в этой войне. Наша армия была неотделима от народа, была, в полном смысле слова, воюющим народом. Из войны советский народ вышел не только первоклассным мастером военного дела, но он еще более глубоко осознал свою историческую личность, свое место в мире. Русский народ развернул в этой беспрецедентной войне, с беспрецедентной во всей своей великой истории силой, замечательные свойства свои как самого выдающегося народа среди всех народов Советского Союза. Россия никогда не поднималась на такую высоту государственной мощи и исторического значения, на какую ее поднимал советский строй, и, как ни велико прошлое России, — оно было лишь предисторией по отношению к той подлинной истории, которую открыла Октябрьская социалистическая революция.

Не только окостеневший в самодовольном шаблоне, ныне поверженный враг не понял, какую новую, еще неведомую земле силу вызвал он на борьбу в лице России, ставшей советским социалистическим государством. Это еще не до конца поняли и иные наши друзья.

Советский народ, спасший цивилизацию Европы от фашистских погромщиков, — самый человечный народ. Наши люди вышли из войны сплоченнее, чем были когда-либо, прямее, тверже, добрее. Они заслуженно чувствуют себя творцами новой истории человечества и, гордясь своей великой предисторией, полны любви и страстного интереса к новому, потому что в будущем им предстоит гораздо больше, чем в прошедшем.

Но какое отношение имеет осознание нашими людьми своей роли в человечестве, своей исторической личности к вопросу об овладении ими военным мастерством? Какая связь существует между личностью героя и его пониманием основ военного дела?

В одном из рассказов Вадима Кожевникова выведен необстрелянный, неловкий боец Кузьма Тарасюк, который в первое время своего пребы-

вания в части проявил себя малодушным человеком. Товарищи отвернулись от него. Кузьма Тарасюк очень страдает от одиночества. Когда он становится смелым воином, к нему приходит любовь товарищей. Как это случилось? Что движет воином? Вадим Кожевников отвечает — совесть. Случайным, преходящим было в Тарасюке малодушие. Тягостно было для него то, что он потерял доверие товарищей. Но если человеку нужно доказать, что у него есть совесть, — нет такой задачи, которая оказалась бы ему не под силу. Тарасюк доказал это, выполнив опасное боевое задание. Дважды переходил он реку, проваливаясь сквозь неокрепший лед, доставил донесение, принес на обратном пути рацию. Обледенелый, в твердой, как железо, шинели, возвращается Тарасюк в землянку. Он ошеломлен щедростью непривычной для него солдатской ласки. Тарасюк укладывается спать. Слух о его подвиге разнесся уже по всей части.

«Дверь землянки распахнулась. На пороге Липатов. Он громко и радостно сказал:

— Орлы, про Тарасюка слышали?

— Тише, Тарасюк спит. Понятно?

Это Чумаков вскочил и, закрывая рот Липатова своей тяжелой ладонью, так зловеще сказал ему.

Липатов подмигнул бойцам и кивнул на спящего, и потом осторожно уселся на нары.

— Будьте уверены, — сказал один боец.

— Главное — совесть иметь, а она себя рано или поздно покажет, — сказал другой.

— Сила у русского человека, как у Кошеля, сохранена, — сказал третий.

— Землю носом перевернет, — сказал четвертый.

— Довольно вам, — грубо сказал самый грубый человек в отделении — Чумаков, — спит же человек!

И все замолчали. А Липатов сидел на нарах и улыбался с таким видом, будто он знает что-то такое, чего другие не знают.

Совесть — так называет народ свою нравственную силу в рассказе В. Кожевникова. Подвиг воинский народ осознает как дело совести и как проявление глубокой человечности. В поступке Кузьмы Тарасюка его товарищи увидели подтверждение того, что они знали о русском народе

и в чем они по-новому убедились на опыте Отечественной войны.

К тому, что говорилось в землянке по поводу Кузьмы Тарасюка, можно было бы еще добавить — умение воевать тоже ведь не предел для нас. Понадобилось — овладели им, как в свое время мастерством хозяйственным, а подойдет дело к чему-то новому, — опять справимся, потому что нет таких крепостей, которых мы, большевики, не смогли бы взять. Главное — совесть иметь... Вот черты того исторического самосознания, в котором высокое мнение о народе сочетается с высоким моральным требованием к каждой отдельной личности.

Посмотрим теперь, что же представляют собой, с этой точки зрения, произведения, названные нами рассказами о военном мастерстве. Начнем с книги К. Симонова «Дни и ночи» — первого крупного произведения о Сталинграде.

Известно, что Сталинградская операция оказалась беспримерной в истории военного искусства, что условия и обстановка борьбы в Сталинграде, где «подем боя» был каждый дом, комната, лестничная клетка, а в решении боевых задач важную роль сыграло и мирное население, оставшееся в городе, — все с чисто военной точки зрения являлось крайне своеобразным.

Изображая на таком необыкновенном фоне обыкновенных и даже подчёркнуто будничных людей, К. Симонов рассчитывал этим контрастом показать их исключительную силу. Но этот прием помог ему добиться лишь частичного успеха. Автор хотел, следуя традициям Л. Н. Толстого, подчеркнуть, что самые обыкновенные, незаметные люди делают героические дела. Он правильно замечает, что, выполняя приказ Сталина — «ни шагу назад», наши люди меньше всего способны были смотреть на себя со стороны, любоваться собой и принимать красивые позы. Прекрасно то, что в повести Симонова нет никакой красивости. «Дни и ночи» строго и очень убедительно передают необыкновенность обстановки, предельное напряжение и такую стойкость защитников Сталинграда, которая кажется почти фантастической.

С помощью метких художественных деталей автор создает картину

героического быта, будничного массового подвига сталинградцев. На этом фоне не кажется невероятным даже исключительный подвиг капитана Сабурова, сумевшего в течение одной ночи дважды проползти под самым носом у немцев в расползшиеся отрезанного ими полка и связать с ним штаб Проценко.

Автор показывает целеустремленность своих героев: капитана Сабурова, командира дивизии Проценко, старого солдата Колюкова, рост их военных знаний, изучение приемов борьбы с сильным и коварным врагом. Стремление овладеть воинским мастерством составляет ту страсть, без которой нельзя понять этих людей. Но, повидимому, одной «функциональной» целеустремленности недостаточно для того, чтобы раскрыть человека. В одном из набросков предисловия к «Войне и миру» Л. Н. Толстой писал:

«Как историк будет неправ, ежели он будет пытаться представить историческое лицо во всей его цельности, во всей сложности отношений ко всем сторонам жизни, и тем невольно упуская и заслоняя главную свою задачу — указать на участие лица в историческом событии, так художник не исполнит своего дела, понимая лицо так, как историк, представляя его всегда в его значении историческом... Для историка, в смысле содействия, лицом какой-нибудь одной цели, есть герой, для художника, в смысле ответственности всем сторонам жизни, не может и не должно быть героев, а должны быть люди»¹.

Симонов дает почувствовать значение опыта войны для боевых успехов своего героя, но оставляет в стороне тот огромный нравственный опыт, каким не мог не стать Сталинград для таких людей, как Сабуров. Правда, автор пытается преодолеть эту односторонность, показывая Сабурова в ином разрезе. Любовь Сабурова и Ани, этот любовный мотив, — не просто дань романической традиции, а желание увидеть в суровой обстановке борьбы мечту о личном счастье, которая только усиливает герою долг. Вряд ли, однако, любовь к Ане вносит ту «соответственность всем сторонам жизни», которая только

и создает образ. Любовь Сабурова не затронула в нем той глубокой струны, которая звучала бы во всем строе его личности.

Что узнал Сабуров в Сталинграде, стал ли он как-то по-иному, по-новому смотреть на людей, на жизнь, на самого себя под влиянием огромного исторического, трагического опыта войны? На этот вопрос любовь Сабурова не дает ответа, этот вопрос остается без ответа и во всей повести.

Сколь ни была необычна с точки зрения истории всех войн, обстановка Сталинграда, в описании которой К. Симонову так счастливо удалось избежать экзотики, самым удивительным, необыкновенным все же были в Сталинграде души наших людей. И само собой разумеется, что отказ от ложной красоты при описании их подвигов не должен был устранить подлинной, возвышенной красоты подвига. А ее в повести «Дни и ночи» не чувствуешь.

Подвиг в изображении Л. Н. Толстого всегда является мобилизацией всех сил личности. Андрея Болконского удивляет в Багратионе, которого он был готов представлять себе романтическим героем, его «обыкновенность» в необыкновенной обстановке разгорающегося сражения. Но когда приходит момент для действия, когда Багратиону нужно сосредоточить все силы своей души, возглавив атаку двух батальонов 6-го Егерского, отведенных им ранее в резерв, «князя Андрея поразила в эту минуту перемена, происшедшая в лице князя Багратиона. Лицо его выражало ту сосредоточенную и счастливую решимость, которая бывает у человека, готового в жаркий день броситься в воду и берущего последний разгев...»

Вспомните, как преобразается Тушин, скромный, обыкновенный капитан, когда на его долю выпадает задача, явно превышающая обыкновенные человеческие силы. Командуя своей батареей, оставшейся без всякого прикрытия, Тушин представляется себе великаном, неприятельские пушки в его воображении были не пушки, а трубки невидимого курильщика, французы казались ему муравьями и вообще, как подчеркивает Толстой, «у него в голове установился свой фантастический мир, который составлял его наслаждение в эту минуту». Отнимите у обыкновенного Тушина это яркое преобразование,

¹ Л. Толстой. Полное собрание художественных произведений, том VII, М., 1929, стр. 315.

с помощью которого великий художник нашел способ передать мобилизацию всех сил личности, наслаждающейся своим деянием,— и все потускнеет, померкнет, подвиг перестанет быть подвигом, то есть чем-то выходящим из ряда вон, чем-то не повседневным, на что указывает самый смысл слова «подвиг»: необыкновенным движением души, упоением, иррациональным духа. Что же останется? Газетный факт, отчет, в котором все правильно, но из которого не поймете, как же случилось, что обыкновенный и незаметный, робкий и неловкий Тушин возвысился до героического.

И если бы газетный корреспондент попробовал расспросить у самого Тушина о том, что он думал и чувствовал при этом, в ответ он услышал бы что-то очень будничное и деловое, на что всегда жалуются газетные корреспонденты. Жалоба эта стала штампом наших военных очерков, штампом, оправданным как будто тем, что таким образом доказывается скромность самого героя. Но подобный сухой и деловой ответ Тушина (батарея которого удалось захватить Шенграбен) объясняется не только тем, что Тушины вообще отличаются замечательной скромностью, но и тем, что, с их точки зрения, разумное основание и цель подвига есть самое главное, а тот «фантастический мир», о котором говорит Л. Н. Толстой, изображая подвиг, вряд ли кажется им достойным внимания и, во всяком случае, улетучивается из их сознания или задерживается в нем не дольше, чем странный сон.

Только художник может вернуть нам этот «сон», творчески увидев его за своего героя. Автор «Войны и мира» ничего не рассказал нам о прошлой жизни капитана Тушина и вообще рассказав о нем очень немногое.— но именно то, что позволило нам поверить в созданный им во время боя «фантастический мир» и, тем самым, в реальность совершенного обыкновенным Тушиным необыкновенного деяния.

Конечно, в литературе не существует рецептов для изображения героического, однако же будничность Сабурова скрадывает ту мобилизацию духовных сил, без которой нет подвига. Вообще Сабуров менее значителен, чем он мог и должен был

быть. Разве в данном случае читатель не имел бы права, не впадая в привычную ошибку, отождествить героя и автора—людей одного поколения? Но автор не захотел поделить своего Сабурова хотя бы частью тех острых наблюдений и лирических размышлений, которые украшали военные корреспонденции К. Симонова, например, такой замечательный очерк, как «Июнь-декабрь», написанный в конце 1941 года. Сабуров оказался суше и плосче, чем мог бы быть герой, близкий автору.

Наш человек стал субъектом истории, сознательным деятелем и, благодаря этому, в большей мере стал человеком. Мы подняли наинизшие нити к историческому творчеству. Понятие исторического лица у нас расширилось. Подобно Толстому, мы хотим видеть в современном искусстве не «функциональных», а живых людей, которым ничто человеческое не чуждо. Но в нашу эпоху, когда, по словам Ленина, каждая кухарка должна научиться управлять государством,— человеческое не противостоит историческому. «Человек наиболее живет именно в то время, когда чего-нибудь ищет и добивается,— говорил Достоевский. Эти слова мы можем принять как дополнение к мысли Л. Н. Толстого о разнице задач художника и историка, потому что у нас художник не противостоит истории, а стремление к цели или, как выражается Толстой, «содействие лицом какой-нибудь одной цели» характеризует человека, а не только исторического героя.

Человек, который решал судьбу Сталинграда, который буквально добивался в те дни поворота мировой истории, все силы своей души мобилизовал на решение поставленной перед ним военной задачи. Никогда значение личности, осознавшей себя творцом истории, не вырастало до таких размеров, как в Отечественной войне.

В одном из рассказов Андрея Платонова — «Старик» — выведен маленький, сердитый дедушка Тишка, оставшийся один в деревне, после того как все жители ушли от немца.

«Я тут буду,— сказал он.— Я, может, один окорочу всего немца!»

Боль за поруганную врагом, онемевшую, тоскующую об ушедших людях землю вызывает в нем такое оже-

сточение, которое превращает слабого безоружного старика в сильного и опасного противника. Тишка поджег родную деревню так ловко и умело, что она сразу вся занялась огнем, и обезумевший от страха враг покинул ее.

«Ошалел конопатый, — подумал Тишка, — Озорства в них и алчности много, а силы настоящей нету, нет — нету! Да откуда ж взяться у них настоящей силе-то! Неоткуда: ни одна живая душа не прильнет к ихнему делу...»

Это было напечатано в «Красной звезде» в 1942 году в тягчайшие дни Сталинграда. Если по произведению художника можно уяснить себе социальные процессы, происходящие в народной толще, то разве этот рассказ, несмотря на известные его недостатки, не свидетельствовал о том, как активно народ понял призыв товарища Сталина «Ни шагу назад»? Досадно, конечно, что в рассказе Андрея Платонова Тишка слишком чудакват, целесообразность иных его «юродских» поступков вызывает сомнение. Но в конце концов соглашаешься с тем, что такой Тишка «окоротил» неприятеля — врага в своей деревне. Один в поле не воин — веками учила пословица. Но когда воюет весь народ, защищая свою родную землю, то каждый отдельный человек, каждый «один» — воин. Разве не является образ Тишки символом того, что только в подвиге личность дорастает до своих собственных возможностей?

Автор повести «Дни и ночи» не дал в своем Сабурове личности. Мы хотим видеть в Сабурове — герое Сталинграда — человека самобытного, талантливого, одного из тех людей, каких во множестве выдвинула в дни войны советская интеллигенция. Не найдя этого в Сабурове, мы чувствуем здесь не просто недостаток художественной разработки образа, а расхождение с действительностью. Автор сделал своего героя слишком будничным и, в противоречие с его героическими деяниями, вывел его весьма заурядной натурой. Этим-то он и снизил свою великую тему.

Образ Сталинграда среди других образов, созданных самой действительностью Отечественной войны, рождает у нас особое чувство гордости: во всякой борьбе возможны временные неудачи, но есть рубежи, ко-

торых не отдают, за которыми открывается путь только к победе. В слове Сталинград заключено для всего человечества великое содержание: историческое, моральное и стратегическое. Здесь исток новой традиции: «Не сдавайте врагу наш любимый город! Любой ценой защитите город Сталина! Бейтесь так, чтобы слава о вас, как и о защитниках Царицына, звенела в веках!» — писали участники героической обороны Царицына в обращении к защитникам Сталинграда.

Никогда не забыть нам времени, когда Сталинград был «за всех», когда в этом городе решалась судьба России. Но это и значит, что правдивое предание о Сталинграде должно поведать нам средствами искусства о «преображении», о великой мобилизации душевных сил личности, о росте наших людей, выплавленных из богатейшей народной руды и закаленных в сверхтвердую сталь Октябрьской социалистической революцией.

III

Все, кому довелось высказаться о пьесе А. Крона «Офицер флота», не могли не отметить серьезности ее замысла. И это верно. Автор хотел показать в лице своего героя — командира подводной лодки Горбунова — человека незаурядного, до одержимости увлеченного идеей воинской дисциплины и офицерской чести, готового драться за эту идею, ставя на карту собственную честь.

Действие пьесы происходит в блокированном Ленинграде в 1941 — 1942 годах. Однако драматизм пьесы А. Крона, как правильно отмечалось, не специфически ленинградский, ее конфликт легко перенести на любой участок фронта Отечественной войны в 1942 году. В организации нашей армии, как помнит читатель, назревали в тот год важные перемены. Возрождались лучшие воинские традиции старой русской армии. Слово «офицер» вернуло себе свое благородное значение авторитетного, требовательного к себе и к своим подчиненным военачальника. Повидимому, в то время уже разрабатывался проект введения погонов. В пьесе А. Крона Горбунов высказывает передовые мысли о сущности военного дела, о том, что советский офицер должен

продолжать благородные традиции русской армии и русского флота. Горбунов борется с людьми, не имеющими на этот счет собственного мнения, и, стало быть, опережает ход событий. Он вообще задуман автором как новатор. Повидимому, этот замысел и привлек сердца критиков и расположил их к снисходительности в оценке пьесы А. Крона, в особенности на фоне многих и многих слабых пьес или, вернее, тех драматургически оформленных заменителей пьес на современные темы, где все несерьезно и фальшиво, начиная с замысла (или, вернее, с умысла без промедления изготовить ходовое драматургическое изделие).

Пьеса А. Крона честно задумана, не без таланта выполнена и, тем более, заслуживает оценки без скидок, диктуемых тем, что кто-то, не обремененный особым талантом и вообще не обремененный художественными принципами, успешно продвигает свою несерьезную продукцию на театральные подмостки. Мы ведь не можем хвалить произведение только за то, что в нем видна серьезная цель, серьезные намерения.

Дело, однако, не столько в художественных недостатках пьесы А. Крона, сколько в художественной ошибке автора, подменившего человека — «функцией». Пьеса, конечно, слаба и как пьеса: весь ее драматургический узел стянут к тому, что Горбунов, имея законное разрешение на получение со склада материалов, нужных для ремонта лодки, реализовал его не по форме, — погрузил эти материалы на грузовик, не посчитавшись с требованием отъявленного бюрократа — отложить погрузку до оформления. При этом Горбунов обозвал этого бюрократа предателем. Дальше в пьесе все вертится вокруг того, попадет ли Горбунову от начальства, или нет, вникнет ли начальство в обстоятельства дела, убедившись, что Горбунов по существу был прав, или же все-таки взгреет его за действия не по форме. Но даже если начальство не разберется, то худшее, что может ждть Горбунова, — служебная неприятность. Разве это тот драматизм, который заставляет нас волноваться за судьбу героя? Неужели в таком «конфликте» испытывается характер героя? Ведь волноваться за Горбунова у нас нет особых оснований, потому что вся

пьеса настраивает так, что начальство не ошибется, да и заботливый автор этого не допустит. Но тогда ведь дело сводится к таким пустякам, что драмы. во всяком случае, здесь не выходит. Неужели борьба страстей в такие дни, как наши, может иметь своим единственным основанием канцелярскую «неувязку»!

Говорят, что главный конфликт в пьесе «Офицер флота» не Горбунов и бюрократ Селянин, а Горбунов — Кондратьев — конфликт убеждений, взглядов двух офицеров, каждый из которых по-своему понимает пользу флота. Если согласиться с этим, то драматургическим источником своим этот конфликт имеет все тот же канцелярский эпизод с Селяниным из-за неформальной погрузки материалов со склада. Во всяком случае Горбунов, будучи представителем определенных убеждений, взглядов, передовой военной мысли, — в художественном произведении должен быть лицом, характером. А в пьесе «Офицер флота» он только офицер флота, сочиненная функция авторской мысли, действующая, как и всякая функция, в строго отведенной для нее сфере, и не по собственной воле живого лица, а в строгой зависимости от своей причины, то есть для воплощения определенного принципа.

Горбунову проповедует уважение к военному делу — и в этом он совершенно прав. Но он только и делает, что проповедует. Даже знакомясь с женщиной, которая, повидимому, ему понравилась, он со второго слова проповедует.

— «Скажите, вам очень надоела война?» — говорит Катя, обращаясь к Горбунову и Ждановскому, с которыми только что познакомилась. Ждановский отвечает вполне резонно: «Война — не дожидки». В этом шутовском сравнении читатель улавливает то, что подразумевается: и тяжесть вражеского нашествия, и ответственность, лежащую прежде всего на военных людях. Но катина реплика на эту фразу Ждановского вовсе не так резонна: «Вы так говорите, — можно подумать, что все это вам очень нравится». Слово «нравится» вызывает Горбунова на проповедь:

«Горбунов — Нравится — не то слово. Я люблю воевать».

Катя — Послушайте, вы шутите?
Горбунов — Почему? Воевать — моя профессия».

Начав с признания «люблю воевать», несколько назойливого в той обстановке лишений и горя, которые принесла блокада Ленинграда, Горбунов уже не слезает со своего любимого конька до конца пьесы. Даже прощаясь с Катей, которую он полюбил и которая любит его, перед уходом в море на выполнение боевого задания, он напоминает ей свой принцип — «кто помогает воевать — друг, мешает — враг», и — жестко, как об этом сказано в авторской ремарке, говорит женщине, полной тревоги за него: «Ты мне мешаешь, Катя».

Естественно, у меня, читателя, возникает вопрос: что же за человек Горбунов, в жизненных проявлениях которого идея вытеснила все, что не она? И может ли существовать такой человек? Я начинаю искать в образе Горбунова какие-то другие стороны, черты, признаки, намеки, которые объяснили бы мне эту фигуру, выдвигаемую автором в качестве передовой и типической для нашего советского флота. Но чем больше вглядываюсь, тем меньше понимаю Горбунова. Отстаивая свою идею офицерской чести, он все время ссылается на пример прошлого. В разговоре с контр-адмиралом Белобровым, который осуждает Горбунова за то, что тот оскорбил Селянина, Горбунов в ответ выставляет несколько неожиданный довод:

«В прошлые времена офицер, будучи оскорблен, должен был восстановить свое честное имя или покинуть полк. Селянин человек без чести...»

Удивительно в Горбунове конечно, не обостренное, повышенное чувство чести, а то, как он его обосновывает. Еще до встречи с контр-адмиралом у Горбунова проскальзывают очень странные фразы по поводу... дуэли, как средства для советского офицера смыть нанесенные ему оскорбления: «А все-таки жаль, что ничего вместо этого не придумано». Это замечание имеет, конечно, тот же смысл, что и реплика Горбунова о том, что оскорбленный офицер в старое время должен был покинуть полк.

Откуда это у Горбунова? Откуда столь странное бреттерство у человека такого социального круга, такой биографии и такого возраста, как Горбунов? Я задаю этот вопрос

вовсе не потому, что хочу уличить Горбунова в идеологической невыдержанности, а потому, что чувствую в ссылках Горбунова на примеры из прошлого такую конкретность, которая может идти только от каких-то воспоминаний, от семейных традиций, от рассказов или книг, слышанных или прочитанных в юности.

Может быть, он из старой офицерской семьи? Но вообще неясно, из какой он семьи, как неясно в его личности все «в смысле ответственности всем сторонам жизни». А стало быть, нельзя поверить и в его идею, тем более, что фразы Горбунова о восстановлении чести, о дуэли — явно «с чужого плеча».

Почему же автор вкладывает в уста своего героя чуждые ему фразы? Потому что он не видит своего героя, не чувствует его как личность. Если художник слился со своим героем, так, как я, читатель, сливаюсь с ним, то уже невозможно сказать от лица героя то, что ему несвойственно. «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах — вот чего требует наш ум от драматического писателя», — как говорил Пушкин. И если Горбунов — новатор в нашей армии, то я постигну через его личность и общий смысл его страсти, то есть, например, и тех стахановцев, которые за много лет до Великой Отечественной войны развернули свое движение вопреки воле администрации некоторых наших предприятий и даже в борьбе с ней. Но автора пьесы «Офицер флота» интересует не личность, а функция.

Когда в похвалу пьесы А. Крона говорят, что в ней выведен думающий офицер Горбунов, то это неправда, потому что в ней есть только думающий автор. Но автор и его герой в данном случае люди разные. И мной овладевает сомнение: да существует ли в действительности такой человек, как Горбунов? Мое любопытство разожжено до крайности: каковы же они в действительности, эти люди, которые, подобно Горбунову, целиком захвачены своей идеей, идут на все ради ее осуществления и, добываясь своей цели, по словам Достоевского, как раз в это время «наиболее живут»?

Попробуем найти ответ на этот вопрос в другом современном произведении.

Герой повести А. Бека «Волоко-

ламское шоссе» — некий старший лейтенант поучает и наставляет читателя, неопытного в вопросах военного дела, дает советы молодому командиру Красной Армии или вообще молодому человеку, готовящемуся вступить в ее ряды, иллюстрирует разумность требований нашего военного устава примерами из боевой истории своего батальона, причем делает это все с таким видом, как будто он по крайней мере новый Клаузевиц или Драгомиров.

Сначала это кажется странным, а потом и несколько утомительным, напоминает учебник тактики. Но уж очень интересны «примеры»: батальон, о котором идет речь, защищает подступы к Москве — Волоколамское шоссе, куда рвались немцы в октябре 1941 года. Если читатель, обманувшись назидательным тоном книги, воспримет ее как учебное пособие, то на худой конец следует сказать, что «Волоколамское шоссе» А. Бека пособие не столько по тактике, сколько по истории Отечественной войны, — ведь речь здесь идет о боевых действиях, которыми руководит замечательное историческое лицо — генерал Иван Васильевич Панфилов.

«В этой книге я всего лишь добросовестный и прилежный писец», — говорит А. Бек в первой фразе своей повести. Лукавое предупреждение! Да, конечно, автор написал ее со слов и по рассказам одного из командиров-панфиловцев, который предоставил в распоряжение писателя свою память и опыт. Повидимому, вполне точно переданы в повести А. Бека боевые действия. Тем не менее напрасно приbedняется автор, подчеркивая ее «документальность». Никто ведь не может ограничить его свободу в трактовке героя, о котором мы впервые узнаем из его повести, а указание на документальность — могущественное средство привлечь доверие читателя. Разве нет в этом литературной хитрости?

Повествование ведется от лица героя. Добивался ли автор портретного сходства, или только искал в своем рассказчике «донора» для того, чтобы облечь в плоть и кровь свой образ? Каковы отношения между прототипом и автором повести и кто кого подчинял в ходе работы — как можно это проверить и зачем нам это знать? «Волоколамское шоссе» — не историческое пособие. Молодой

командир-панфиловец, страстно и умно постигающий искусство воевать и яростно дерущийся на подступах к столице родины, живет ныне в образе литературного героя повести «Волоколамское шоссе».

Напомним его имя: Баурджан Момыш-улы. Это важно для понимания его индивидуальности. Он — казах с очень острым чувством национальных традиций своего народа. Еще в школе, где Момыш-улы учился вместе с русскими ребятами, он не позволял никому переименовывать свое имя на русский лад и дрался в кровь с теми, кто называл его не Баурджан, а Боря. Его по-особенному радует, когда он замечает, что сержант Барамбаев из его батальона замечательно ловко и легко разбирает, собирает и ремонтирует части самолета. «Вот и мы, казахи, станем, как и русские, народом механиков...» И когда тот же Барамбаев, незадолго до первого боя с немцами, поддавшись панике, простреливает себе руку, первое острое чувство командира — «Барамбаев был, как и я, казах...» Это означает — не имеет права казах сражаться хуже русского. Но вот Барамбаев, присужденный к расстрелу, обращается перед строем к своему командиру по-казахски, надеясь этим тронуть его:

«— Простите... пошлите меня в бой...»

Он опять говорил тихо и опять по-казахски. Я закричал:

— Мы не в ауле! Говори по-русски!»

В повести А. Бека особенно значительны те места, где проявляется новое историческое самосознание Момыш-улы — казаха и советского человека. Среди русских военных имен, которые он произносит с восторгом и родственным пониманием, на первом месте — Суворов. От командира своей дивизии, генерала Панфилова, Момыш-улы усвоил мудрое правило: солдат идет в бой не умирать, а побеждать. Момыш-улы относится к своему начальнику с почтительным обожанием, влияние личности Панфилова сказывается в поступках Момыш-улы и в его подходе к людям. «Аксакал» — так называют казахи отца, старшего в роде. В историческом самосознании Момыш-улы русский народ и есть «аксакал». Это обращение неожиданно вырывается у Момыш-улы, когда Панфилов в бесе-

да с ним толкает ему мысль о том, что нужно не только укреплять рубеж, но и переходить к наступательным действиям:

«— Знаете, товарищ Момыш-улы, чего нехватает батальону? Один раз поколотить немцев!

Я вздрогнул. Это было как раз то, чего я так страстно ждал.

— Тогда, товарищ Момыш-улы, это будет не батальон... Нет! Это будет булат! Вы знаете, что такое булат? Чеканный узор на нем никто в мире не сотрет. Вы поняли меня?

— Да, аксакал...

Я сам не знаю, как вырвалось у меня это слово...»

Панфилов, который долго прожил среди казахов, «оценил порыв командира батальона и, прощаясь, двумя руками, по-казахски пожал мою руку. Это была ласка.

Подробность эта превосходно рисует не только Панфилова, но и Момыш-улы с его живым, национальным чувством.

Его личность окрашивает собой повествование. Все тактические размышления, все поучения характеризуют прежде всего самого героя. Удалите из повести рассказчика или замените его леким «Х», и она сразу станет голой дидактикой, а ее военная мудрость, в большей своей части, собранием прописных истин. Тут все дело в том, как овладевал ими данный герой в самый критический, трагический период войны.

В этой повести ее дидактичность — «указательный палец», который выглядывает из-под каждой главки — средство создания образа. Герой повести хочет, любит поучать, осмысливать то, что он делает. Не случайно поставлен он в позу «военного философа». Однако в том, что Момыш-улы говорит о превращении инстинкта самосохранения в инстинкт нападения, есть новое. По-своему он выражает передовую военную идеологию советского офицера. Про героя повести А. Бека с полным правом можно сказать, что он думающий офицер, потому что в повести «Волоколамское шоссе» Момыш-улы думает сам, а не автор думает за своего героя. Мы видим, как наступательная идея созревает у Момыш-улы в тех формах, которые свойственны его личности. «Солдат идет в бой не умирать, а жить», — сказал ему

Панфилов еще в Алма-Ата, где формировалась дивизия. Эта мысль не оставляет Момыш-улы в самые тяжелые дни отхода наших войск. Обратите внимание на то, в каких образах и предствлениях осваивает и развивает он мысль Панфилова, и вы сразу почувствуете степного человека, сына кочевника, с детства наблюдавшего среди песков жестокую борьбу за жизнь:

«Неужели воля к жизни, инстинкт сохранения жизни, — могучий первородный двигатель, свойственный всему живому, — проявляется только в бегстве?

Разве он же, этот самый инстинкт, не разворачивается во-сю, не действует с бешеной яростью и мощью, когда живое существо борется, дерется, царапается, кусается в смертельной схватке, защищается и нападает?»

Наступает момент в высшей степени критический: немцы в двадцати километрах от расположения батальона, наши люди еще ни разу не видели врага в лицо, они все время отступают, и вот ставится задача — стоять насмерть. Момыш-улы понимает: как ни укреплен рубеж, занимаемый батальоном, это немного стоит, если не укреплены души бойцов. И прежде всего нужно победить в них страх перед немцами. Тайну того, как рождается самочувствие победителя, талантливо раскрывает перед нами повесть А. Бека, напоминающая, как это ни покажется неожиданным, книги Станиславского, в которых он рассказывает о творческом самочувствии актера. У Станиславского есть удивительные страницы, посвященные искусству выработки в себе актером такого настроения, которое помогло бы ему, выйдя на сцену, легко перевоплотиться в образ. Тайну такого творческого самочувствия и, между прочим, тайну победы над самым вульгарным — страхом перед сценой, раскрывает Станиславский.

Книга Бека дает нам то, что можно было бы назвать творческим самочувствием победителя, родившимся в первых наступательных боях Отечественной войны.

Тот, кто хочет понять повседневные радости и огорчения командира, преданного своему делу, его тревоги, ошибки, восторг первой победы над врагом, найдет в повести

А. Бека благодарный материал, в особенности потому, что все эти переживания у героя повести выражены резко. Может быть, здесь играет роль та национальная форма, в которую выливаются все эти чувства. В историческом самосознании Момыш-улы сплавлены элементы новой, советской морали с древними традициями и представлениями казахского народа. Таково, например, его чувство чести. Оно складывается у Момыш-улы прежде всего из тех высоких образов стойкости и терпения, которые дает народ-аксакал, русский народ, но также и из того, что в его заповедях война сохранила память детства, например, в древней казахской пословице: честь сильнее смерти. Момыш-улы сознает особую свою ответственность потому, что он защищает Москву. «Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось...» Разве эти слова не мог бы сказать о себе Момыш-улы, с гордостью цитирующий Суворова — «легкие победы не льстят сердца русского», советский офицер-казак, приобщившийся к русской культуре, для которого русская культура с ее высшим достижением — ленинизмом — стала светочем, указав путь развития его родного народа? И разве то, что он, казах, защищает Москву, не вносит какую-то особую страстность в выполнение им своего воинского долга и особую беспощадность в замечательной сцене с Барамбаевым, казахом, нарушившим свой воинский долг перед Москвой, перед родиной! Но вот изменник родины расстрелян по приказу Момыш-улы. В воспоминаниях детства Момыш-улы ищет тот образ, то сравнение, которые помогли бы ему сейчас освоить тот поступок:

«Когда-то моего отца, кочевника, укусил в пустыне ядовитый паук. Отец был один среди песков, рядом не было никого, кроме верблюда. Яд этого паука смертелен. Отец вытащил нож и вырезал кусок мяса из собственного тела — там, где укусил паук.

Так теперь поступил и я — пожом вырезал кусок из собственного тела.

Момыш-улы не раз напоминает в повести о том, что советский воинский устав предписывает командиру перед тем говорить о своей части — «Я». Это, конечно, очень важно, — подчеркивает идею абсолютной воинской дисциплины. Однако вряд ли русский

человек скажет о себе так, как выражается Момыш-улы.

«О колебаниях комбата ведает он один. В батальоне он единственный повелитель. Он решает и диктует повеления...»

Хотя в этих словах нет ничего неверного по существу, но советская идея единоначалия и воинской дисциплины как-то не вяжется с восточным образом повелителя. Но, может быть, герой повести А. Бека именно это и хотел выразить, поставив себя над солдатами, возвеличив именно свое «Я», а не «Я» своего батальона. Так истолковать образ Момыш-улы значило бы в известном смысле подогнать его под традиционного литературного героя, будь то Печорин или Андрей Болконский. Герой повести А. Бека тем и значителен, что он не списан с литературных образов, а взят прямо из жизни. Можно спорить, насколько этот герой типичен для нашей офицерской среды и в какой мере он представляет собой явление исключительное. Но разве исключительное явление не говорит и о массовых процессах?

Момыш-улы под давлением огромной ответственности, обрушившейся на него, быстро растет, развивает все стороны своей натуры, — и хорошие и дурные, потому что становление личности не проходит безболезненно. Момыш-улы, не прячущийся от врага, а, напротив, привлекающий на себя удары врага, предначинен тем, кто на новом рубеже заслонил Москву, не покидающий своего рубежа до получения приказа об отходе, несмотря на отчаянное положение своего батальона, может служить образцом советского офицера. Прекрасно то, что А. Бек показал при этом его борьбу с самим собой, его колебания и сомнения, его страхи и страстное желание получить приказ об отходе. Волевой капитан — десантник Жаворонков, у Вадима Кожевникова в «Марте-апреле», тоже творит свою волю, а не получает ее готовой, как свойство характера. Да и разве волевой характер представляет собой нечто однородное? У Момыш-улы бешеный темперамент, и он иногда ведет себя действительно, как «повелитель». Когда лейтенант Брудин показался ему трусом, он снял его с командования взводом и прогнал к немцам. При этом он не дает ему никакого задания, он просто дает

волю своей ненависти к трусу. Зная личную храбрость Момыш-улы, мы можем признать за ним нравственное право на такую испепеляющую ненависть, но можно ли считать правильным его поступок для командира батальона?

Момыш-улы иногда резок с людьми без достаточного основания. В его волевом характере есть элементы игры и поэзы. В очень тяжелой обстановке лейтенант Исламкулов, земляк Момыш-улы, знакомый ему хорошо еще по Алма-Ата, обращается к нему дружески:

«Исламкулов проговорил:

— Думаю, выберемся, Баурджан...

И улыбнулся...

Я грубо ответил:

— Потрудитесь оставить ваше мнение при себе. Я не созывал, товарищ лейтенант, и не намерен созывать военного совета.

Он вытянулся.

— Виноват, товарищ старший лейтенант... Разрешите удалиться?

Но виноват был не он, а я. Я поддался слабости, взглядом выдал растерянность, взглядом попросил: «Помоги». Тебе обидно, Исламкулов, но я накричал на тебя.

— Садись,— примирительно проговорил я».

Конечно, лучше чтобы у Момыш-улы не было таких недостатков, но тогда он не был бы самим собой. Наивно думать, что, осознав свою неправоту, как в данном случае, герой изменится. Автор, конечно, приводит эту сцену не для того, чтобы показать раскаяние героя, а для того, чтобы дать понять, что это за человек. Панфилов никогда бы так не поступил, никогда бы не оборвал хорошего душевного движения своего солдата, не воспринял бы так болезненно-самолюбиво попытку подчиненного поддерживать своего начальника в трудную минуту. Ведь сам Баурджан Момыш-улы всего за несколько дней перед тем обратился к Панфилову не по форме, назвав генерала «аксакал», но тот в ответ лишь ласково пожал ему руку двумя руками — по-казахски. Откуда же эта разница поступков? Дело не только в том, что Панфилов и Момыш-улы — разные люди, но еще и в том, что один — сложившийся человек, а другой формирующийся. Момыш-улы позирует, потому что, как ни быстро он растет, поза возмещает недостаток

ность его роста, которого требует напряженная обстановка.

В одном случае Момыш-улы проговаривается: ему кажется странным противоречием мягкость Панфилова, объясняющего ему необходимость на войне жестокой дисциплины:

«— Но ведь вы... и я прикусил язык.

— Говорите, говорите. Вы хотели сказать что-то обо мне?

Но я не решался.

— Говорите. Что же, придется показать?

— Я хотел сказать, товарищ генерал... ведь вы же такой мягкий...

— Ничего подобного. Это вам кажется.

Мои слова его, видимо, задели. Он встал, взял полотенце, прошелся.

— Мягкий... Имейте в виду, товарищ Момыш-улы, управляют не криком. Мягкий... Вовсе не мягкий...»

Панфилов не смог всего объяснить, а его собеседник не смог сам дополнить того, что не сказал генерал. Конечно, Момыш-улы понял, что нельзя управлять криком, но это не помешало ему все-таки управлять криком: бешеный темперамент подводил его. Вспомните, например, сцену с Брудным, которого он прогоняет к немцам. Но дело даже не в этом, а в том, что Момыш-улы, очутившись в новом для него положении военачальника в самый критический период войны, не может установить простых и естественных отношений с самим собой. Он усвоил, что «в бою каждое его слово, движение, выражение лица улавливается всеми, действует на всех», но вместо необходимого контроля над собой, он иногда становится в позу. Нужно сказать, что герой повести А. Бека — человек благородных страстей. Любовь к храбруцу и ненависть к трусу, счастье победы над врагом и порыв самопожертвования бушуют в его душе. И в то же время поза нужна ему потому, что она прикрывает и недостаточность его знаний и общей культуры, и прячет под гордой внешностью боязнь оказаться не на уровне своей задачи. Это — болезнь роста. Он позирует перед корреспондентом, приехавшим описывать его подвиги, он позирует и перед своим земляком Исламкуловым, он зажимает в себе естественные проявления человечности в обращении со своими людьми. Он принимает позу сухого и узкого рациона-

листа, изгоняющего из своих жизненных проявлений все, что не имеет прямого отношения к военной задаче. При всех своих несомненных достоинствах как командира может ли он быть обаятельным?

Следует сказать, что автор повести «Волоколамское шоссе» вовсе не собирался выставлять своего героя как пример и образец, он хотел лишь показать на опыте одного командира, как наша армия училась побеждать сильнейшую армию в Европе. Яркая личность героя повести А. Бека привела некоторых критиков в смущение: можно ли изображать такие яркие фигуры, не придавая им значения примера и образца? Отвыкшие от фигур с остро выраженной индивидуальностью, эти критики стали упрекать автора в том, что его герой заслоняет собою в повести всех других. Но мы этого не боимся, потому что нельзя считать удовлетворительной и такую повесть, в которой никто никого не заслоняет, так как в темноте все кошки серы. Мы не боимся такого героя и уверены, что к нам присоединятся все те, кто хочет видеть в литературе яркую личность, пусть только она будет взята из жизни и, значит, даже в исключительности своей отразит закономерности самой жизни.

Повесть А. Бека дает, по существу, портрет, очерк одного лица — так она задумана. Но за Момыш-улы мы отчетливо чувствуем Панфилова, постигаем в его лице всю мощь сталинской маневренной тактики. В командирском восприятии Момыш-улы резко запечатлены индивидуальности его соратников — казахов и русских: Галнуллин и Барамбаев, Севрюков — бывший главный бухгалтер табачной фабрики, и Мурин — до войны аспирант консерватории, который «первый раскисал, когда раскисал батальон, и первый оживлялся, когда у всех крепчал дух», Товстунюв и Божанюв — разные типы политруков, Брудный и другие.

Насколько, однако, глубок этот портрет, насколько автору удалось понять своего героя? Мне кажется, что при всей своей броскости образ Момыш-улы стилизован: поза героя не понята автором и принята всерьез. Момыш-улы подчеркивает, что он рассказывает не о любви, которая понятна каждому, а только о военной специальности. Вспоминает он в повести только то, что относится к истории

его батальона, а когда хочет сказать не о батальоне, то отделяется ничего незначащими словами: «Было и о другом. Мало ли что промелькнуло?» Момыш-улы хочет найти тайну победы в бою и наглядно объясняет, как он самостоятельно дошел до открытия принципа внезапности. Но, по видимому не желая быть банальным и повторять то, что написано по этому поводу в газетах, автор заключает описание сцены, где Момыш-улы дает молодым командирам боевое задание такими словами:

«О Родине, о Москве ничего не было сказано в нашем разговоре, но это стояло за словами, это жило в каждом из нас».

Так об этом ничего не сказано и во всей повести. Но если «это» живет в душе, почему же о нем не говорится в повести? Разве не искусственно и то, что подмосковная природа дана в повести только в терминах военной топографии:

«Не ожидайте от меня живописания природы. Я не знаю, красив или нет был расстилавшийся перед нами вид».

Какой литературный сноб, которому наскучили традиционные описания природы в беллетристике, продикувал герою повести А. Бека эту фразу?

«У нас тут речь идет не о любви, которую пережил каждый, которая понятна каждому, а о технике боя, о вопросах военного искусства...»

Но разве чувство любви не живет в душе человека, идущего в бой, и разве не влияет и оно на поведение человека в бою?

Моральные силы человека в конечном счете решают успех сражения. Кто же, как не художник, может открыть их влияние и описать их действие? Генерал К. Гильчевский — участник войны 1914—1918 годов — в своей работе, посвященной опыту этой войны, признается в своем неумении описать действие нравственных сил, которые, по его мнению, дают перевес в бою — «сплоченности, выручки, проявления патриотизма и во многом необъяснимом другом».

Все это, — говорит боевой русский генерал, — не может быть выяснено после боя, а также нельзя будет указать, на чьей стороне они главенствовали. Между тем во всех описаниях боев причинами победы или поражения приводятся обыкновенно численное превосходство, материальное пре-

имущество, лучшее маневрирование и группировка сил. Все вышеуказанное (т. е. «необъяснимое» — В. П.) не попадает в описание боя, так как не в силах человека наблюдать их в бою и потом их сравнивать»¹.

Но в этом и состоит задача художника, чтобы объяснить «необъяснимое», а не отделаться словами — «это жило в каждом из нас».

Если именно моральное превосходство нашей армии над немецко-фашистской армией стало одним из важнейших факторов, обеспечивших нашу победу, то оно жило и в душе каждого командира-панфиловца. Превосходство это испытывал, конечно, и Момыш-улы. Но автор «Волоколамского шоссе» не прочувствовал всей сложности своего героя и сделал его человеком одной функции, неполноценным человеком. В пределах «книжной» мудрости моральные силы — любовь к родине, любовь к людям — неуловимы. Но это только говорит об ограниченных возможностях А. Бека как художника, а не об ограниченности чувств его героя. Лишь в одном месте повести А. Бек пытается сказать об «общих» чувствах в те дни, когда враг рвался к сердцу нашей родины, но это у него выходит очень бледно:

«В душу запало все, что повстречалось по пути в то утро.

До сих пор помнится встревоженный, вопрошающий женский взгляд, который я на мгновение уловил, когда Лысанка легкой рысью шла через село, протянувшееся вдоль реки. Осталось в памяти лицо — немолодое, на котором прорезались морщинки, почерневшие от солнца, от ветра, от труда, с чуть выцветшими светлосиними глазами. — лицо русской крестьянки, русской женщины. Она будто спрашивала: «Куда ты? Какую весть несешь? Что с нами будет?» Она будто просила: «Скажи словечко, успокой». А лошадь уже промчалась...»

Нет, — этой сцены, этих сил, которых нельзя подвести ни под числа, ни под разряды, автор не прочувствовал, может быть, потому, что «лошадь уже промчалась...»

¹ К. Гильчевский. «Боевые действия второочередных частей в мировую войну». Гос. Изд. Военной литературы, М.—Л., 1928 г., стр. 98—99.

Пьер Безухов в плену у французов, забыв на минуту о своем положении, захотел перейти на другую сторону дороги, чтобы поговорить с русскими пленными, но французский часовой остановил его и велел воротиться. Пьер вернулся, долго сидел молча и потом захохотал странным смехом, разговаривая сам с собой:

«— Не пустил меня солдат. Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого — меня? Меня? Меня — мою бессмертную душу! Ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха!.. — смеялся он с выступившими на глаза слезами».

Отдавая должное работе А. Бека, — упорной и смелой, — я не мог не испытать чувства обиды за его героя-панфиловца и за его «бессмертную душу», запертую автором в тупик «функциональной» схемы. Реальная историческая роль такого героя выше, чем та, какая отведена ему в книге: Момыш-улы не только талантливый исполнитель боевых приказов, он — субъект, творец истории. Рубеж, который он отстаивает, — всемирно-исторический, нужды нет, что на языке военной науки он имеет значение только тактическое. И на этом подмосковном рубеже бессмертная душа нашего человека, его личность является главным «военным потенциалом».

Русская литература всегда работала над образом человеческого человека, а не «функционального» человека. А. Бек уходит от решения этой задачи. А ведь давно известно, что отказ от философии приводит к самой дурной философии. Мерить человека, как это делает автор «Волоколамского шоссе», только непосредственной пользой, какую он принес делу, не совсем справедливо да и неверно: человек есть мера всех вещей.

IV

Да, человек есть мера всех вещей, но эта древняя истина слишком расплывчата, чтобы стать маяком для современного художника в его работе.

Есть еще одно, новое «измерение» человека, которого не было и не могло быть раньше и которое внесло переворот во весь его внутренний мир. Оно появилось с тех пор, как содалась возможность говорить о человеке социалистическом — герое нашего времени. Это новое «измере-

ние» — сознательное участие масс в историческом процессе, человек — как субъект истории.

В январе 1918 года Ленин написал в своем «дневнике публициста» тему для разработки: «Поднять наивысшие нити к историческому творчеству». К этому он сделал следующую выписку из «Святого семейства» К. Маркса:

«Увеличение глубины захвата исторического действия связано с увеличением численности исторически действенной массы»¹.

Это предвидение сбылось в советском строе. Именно этот государственный строй призвал массы к исторической жизни, пробудил в них сознание личности. В самом деле, как может человек участвовать в историческом творчестве, не сознавая своей роли в истории, не отдавая себе отчета в своей индивидуальной ответственности за целое, за государство?

Но если таков герой нашего времени, то самые недостатки нашей литературы связаны с ее небывалой задачей — изобразить советского человека как субъекта истории. «Функциональное» течение в нашей литературе кажется мне не движением в сторону, но неизбежной издержкой на пути к ее идейному и художественному прогрессу. Я бы сказал, что это движение идет параллельно тому направлению в литературе, которое я считаю правильным. А если двигаться параллельно верной дороге, то к цели все-таки не придешь, хотя тот, кто верно идет к цели, не может себя не видеть. С этой точки зрения неудача, например, такого произведения, как «Офицер флота», не обесценивает его значения, как благородного порыва к новому. Заметим здесь: то, что еще не всегда удается в произведениях о современности, в гораздо большей степени удается в историческом романе.

В личности нового Демиурга, сознательного творца истории, находят или искусство свой истинный пафос и глубокий драматизм.

В свое время юная буржуазия высоко подняла знамя личности, расклевывая цепи, наложенные феодализмом на развитие человека. Восходящая буржуазия нуждалась в идее свободной личности и ставила знак равенства между свободным индивидуумом

и буржуа. Ее философы видели в частной предприимчивости купца или фабриканта желанные проявления творчества личности.

«Естественный человек» Жан-Жака Руссо освобожден от всех общественных связей. Эта фантазия «апостола природы» явилась верным слепком потребностей буржуазии, хотя и была гораздо шире их: распались феодальные, общественные связи, и от их пут нужно было освободить демократические силы прогресса. Философия Руссо сыграла революционную роль и, как известно, глубоко отразилась в художественной литературе. Вспомните гордых героев Байрона, противопоставлявших себя обществу, вспомните образ Рене, романтического героя Шатобриана, образ мрачной и разочарованной личности, находящей наслаждение в том, что она в одиночку выступает против целого общества. Вот идеализированный, поэтически украшенный образ «свободного буржуа» — естественного человека — тожд.

«Можно ли придумать что-нибудь более соблазнительное для третьего сословия, чем это учение? — писал Тен о Руссо. — Это дает ему в руки оружие против общественного неравенства и политического произвола».

Естественный человек для нас — это не отъединенный индивид, а член социалистического коллектива. Знамя личности поднял ныне СССР.

«...Социалистическое общество представляет единственно прочную гарантию охраны интересов личности» — говорил товарищ Сталин Герберту Уэллсу¹.

Наша Конституция выразила гарантию интересов личности в праве каждого на труд, на отдых и на образование, в предоставлении советским людям политических и социальных свобод. Однако в понятие «свободное развитие личности» мы вкладываем не только права, но и обязанности. Труд стал у нас делом чести, доблести и геройства. Кто не работает над собой, тот не развивается, тот есть не существует возможностей, заложенных в нем природой, а, стало быть, обкрадывает общество, желающее получить от каждого по способностям. Общество заинтересовано

¹ И. В. Сталин. Вопросы ленинизма. М., 1935. Изд. 10-е, стр. 602.

¹ Ленинский сборник, II, стр. 10.

в том, чтобы его члены не останавливались в своем развитии.

Мы знаем, что люди не равны по своей одаренности, но мы отказываем человеку в праве на успокоенность. Никто не может подозревать, какие в нем дремлют победы. Мы бичуем зазнайство и прославляем скромность, но мы не терпим смиренных. Стремление к подвигу, жажда героического в крови у молодого поколения Корчагиных.

Наши коллективы подправляют личность к ее наиболее полному расцвету. Мы растим в человеке все истинно человеческое. Только жизнь в коллективе может обеспечить личности душевное здоровье. И мы по-настоящему ценим действительное, красочное разнообразие наших человеческих характеров, являющихся выражением единой целеустремленности нашего исторического творчества.

История Отечественной войны показала не только массовый героизм наших людей, но и действительную роль личности в истории. Историческое самосознание советского народа, руководимого великим русским народом, определилось в этой войне во всей своей сложной цельности. Как никогда, велик наш энтузиазм к прошедшему, к лучшему в нашей истории. И мы можем сказать вместе с Достоевским: «В этом энтузиазме... перед идеалами красоты созданными прошедшим и оставленными нам в вековечное наследство, мы изливаем часто всю тоску о настоящем, и не от бессилия перед нашей собственной жизнью, а, напротив, от пламенной жажды жизни и от тоски по идеалу, которого в муках добиваемся»¹. Да, в муках, в страданиях героев, красота подвига которых осталась нам в вековечное наследство. В муках, а иногда и в трагедиях наших лучших людей, вступающих в борьбу с другими советскими людьми, не умеющими понять значения того, за что борется новатор. А ведь новатор—это человек с особенно острой тоской по идеалу, это человек, живущий для будущего.

Крепнет, ширится, все ярче выявляется для мира наша преемственная связь с высокими традициями русской истории, русской науки, рус-

ской литературы. Но как ни углубляют они—эти традиции—национальное самосознание народа-победителя, только одно будущее бесконечно, вечно зовуще, вечно ново. Наши молодые люди, которым предстоит увидеть и построить это будущее, жизненно заинтересованы в решении многих вопросов бытия, и хотя для них ясна цель, но они не принадлежат к самодовольным существам, для которых в жизни нет загадок а есть только один ясно построенный силлогизм.

Для того чтобы раскрыть в художественном образе богатую цельность личности нашего человека, понимающего без ложной скромности свою роль в мировой истории, от художника требуется обращение к своей союзи,—одним талантом тут ничего не сделаешь. Совесть — «высший суд» художника, и она же его муза, его вдохновение в такую эпоху, как наша, когда литература призвана поведать нам прекрасную и трагическую правду о человеке.

Я назвал «прологом» к новому периоду развития нашей литературы те наиболее значительные произведения, которые созданы за время Отечественной войны. И если бы я стал ждать «первого акта», мне бы, возможно, пришлось неопределенно долго молчать в ожидании неведомого шедевра. Но я убежден, во-первых, что многое из «пролога» перейдет «в пьесу», и, во-вторых, что «первый акт» уже начался.

Разве не свидетельствуют об этом главы нового романа А. Фадеева «Молодая гвардия», по которым можно полностью судить о высоком отношении художника к своей теме?

Сюжет романа А. Фадеева задан историей, и мы наперед знаем его трагическую развязку в судьбах героев и мучеников Краснодона. Поэтому мы знаем достаточно, чтобы по опубликованной первой части романа воспринять поэзию их жизни и подвига.

Да, произведение А. Фадеева прежде всего поэзия, а потом уже история, — не так, как в повести А. Бека с ее пафосом рисования с натуры. У Фадеева поэзия даже там, где вдохновение не повиновалось творческой воле автора и где слушалась ее только умелая рука. В том, что я прочитал, нет ни одной страницы равно-

¹ Ф. М. Достоевский. Полное собр. соч., СПб., 1883, т. X, стр. 66—67.

душной, написанной без страстного желания расширить представление о прекрасном в наших людях.

Вряд ли можно давать анализ отдельных образов и оценку романа, не зная его в целом. Я чувствую только, как огненная лава нового содержания раздвинула литературную традицию, в которой работал Фадеев, образовав какую-то новую форму.

Однако не в этом сейчас дело, а в тех «необъяснимых» силах, из которых складывается характер нашего человека — творца истории. Вспомните картину, где Ваня Земнухов и Жора Арутюнянц в потоке беженцев обсуждают в перерыве между немецкими бомбежками обычный для молодых людей вопрос «кем быть?». Именно привычность, известность доводов и фактов, которые они приводят в доказательство своих мыслей, поражает вас, как непреложное свидетельство того, что при советском строе создан устойчивый круг представлений, твердые новые традиции, даже некая «банальность», но тоже своя, современная. Но есть еще что-то, в чем трудно сразу отдать себе отчет. В пути к молодым людям присоединился некий майор, о котором автор сообщает очень скупо, что он был в сильно помятой гимнастерке и в сухих покоробленных сапогах, так как только что вышел из госпиталя, где его одежда валялась «чорт знает где», то есть в госпитальной кладовой. Майор исчезает так же случайно, как появился. Ваня и Жора «тотчас забыли про него». Но мы не можем забыть этого майора, узнав, как воспринял он разговор молодых людей в этой исключительной обстановке.

Ваня Земнухов, уступая настойчивым просьбам Жоры, прочел стихи, которые кончались так:

Нас радости прельшают мира,
И без боязни мы вперед
Взор устремляем, где першина
Коммуны будущей зовет.

— Здорово! У тебя определенный талант! — воскликнул Жора, с искренним восхищением глядя на старшего товарища.

В это время майор издал горлом какой-то странный звук, и Ваня и Жора обернулись к нему.

Вы, ребята... вы даже не знаете, какие вы ребята! — сипло сказал майор, с волнением глядя на них

своими глубоко спрятанными под нависшими бровями влажными глазами. — Не-ет! Такое государство стояло и будет стоять! — вдруг сказал он и с ожесточением погрозил кому-то в пространство коротким черным пальцем...

«Я в этом проклятом госпитале сам было пал духом, неужто ж, думаю, на него и силы нет, а как я к вам пришвартовался и иду, у меня полное обновление души... Думаю, многие клянут сейчас нас, армейцев, а разве можно? Отступаем — верно! Так ведь он какой кулак собрал! Но подумайте, какая сила духа! Ах, боже мой! Да это счастье — стоять на месте, не отступать, жизнь отдать, — поверьте совести, я сам бы пошел за счастье жизнь отдать, отдать жизнь за таких ребят, как вы — с волнением, сотрясавшим его легкое сухое тело, говорил майор.

Ваня и Жора, смолкнув, с растерянным и добрым выражением смотрели на него.

Майор высказался, поморгал, отер усы грязным носовым платком и смолк, и так молчал уже до самой ночи. А ночью майор с внезапной энергией и яростью кинулся «рассасывать», как он выразился, гигантскую пробку из машин, подвод и артиллерийского обоза, и Ваня и Жора навсегда потеряли его из виду и тотчас же забыли про него».

Трудно сказать, что больше поражает в этом эпизоде — беззаботная ли уверенность молодых людей в будущем, или то, как воспринял ее их случайный спутник, увидев в ней доказательство нерушимости нашего государства

Я не буду пересказывать замечательной сцены прощания товарищей с больным Володей Осмухиным и объяснения подпольщика Шульги с матерью Володи, протекающих параллельно в двух комнатах. Фадеев умеет так нарисовать образы рабочих людей, что мы чувствуем весь героический путь, пройденный победившим рабочим классом, а не одного вот этого подпольщика Шульгу Матвея Костиновича, который рассчитывал найти у жены своего друга, старого большевика, приют при немцах. Что может лучше передать народность советской власти и такую интимную семейную, личную связь судьбы человека с государством, чем роковое

недоразумение между Шульгой и матерью Володи? Советский строй, поднявший наизысшие низы к историческому творчеству, сумел так вовлечь их в судьбу государства, что личное, человеческое стало неотделимым от общего, исторического.

Да, героям фадеевской «Молодой гвардии» ничто человеческое не чуждо. Их подвиги, их историческое творчество являются необходимыми проявлениями их человечности, новым «измерением» личности, воспитанной советским строем. И такова сложная цельность этой личности, что нельзя, например, представить себе подвиг Сережки Тюленина, не связав его с внезапно возникшим чувством юноши к неизвестной девушке, которая оказалась Валею Борц. Как немного сказано в начале романа об Уле Громовой и как много дает для понимания ее образа та лилия, которую она приколотла к своим волосам и которую ее подруга Валя во время начавшейся паники вынула из ее волос и бросила на землю.

«Уля поняла теперь, зачем Валя сделала это. В момент такого потрясения Валя догадалась, как странно выглядела бы ее подруга с этой лилией в волосах там, где рвут шахты, и поэтому она освободила ее от этой лилии. Значит, она вовсе не была такой обыкновенной, как она говорила, она могла понимать многое».

Действительное духовное богатство наших людей, понявших многое

в этой войне, Фадеев стремится передать в образах полноценной личности. Иными и не могут быть люди, захваченные высокой идеей, готовые на самопожертвование ради ее торжества.

На счастье человечества советский строй превратил нашу родину в могучую державу. Историческая полноценность советской системы испытана войной и доказана великой победой советского народа над сильным и коварным врагом. Сознание своей исторической роли и высокое чувство уверенности в будущем не могут не породить у наших людей высокого сознания своей личности.

Творений наших художников ждут сейчас во всем мире.

Нет иного пути для нашей литературы, как утверждение полноценной личности героя и, заметим кстати, личности самого художника. Да вряд ли одно возможно без другого. Вряд ли художник, не сумевший найти себя и отстоять свое лицо, сможет создать яркого героя.

«Упрямство» — так называется глава, открывающая знаменитую книгу Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Когда художник идет к общей цели настойчиво своим путем, то он находит своих героев, и каждый из нас с благодарностью открывает в этих индивидуальных образах общие черты времени и узнает, с удивлением, самого себя.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

СТЭНЛИ ЭДГАР ХАЙМЭН

НОВАЯ «ВОЙНА и МИР»

(Размышление)

ОТ РЕДАКЦИИ

Печатаемая нами с некоторыми сокращениями статья видного американского критика Стэнли Эдгара Хаймэна привлекает к себе внимание как одна из первых попыток охарактеризовать литературную жизнь эпохи второй мировой войны и задуматься о путях ее развития в послевоенный период. Очевидна субъективность многих положений автора. Дискуссионность его статьи не требует особых разъяснений. Выступление его интересно не столько непосредственными своими оценками и выводами (хотя в отношении иностранной литературы оно содержит новый для нашего читателя материал), сколько именно этим стремлением рассмотреть развитие мировой литературы в годы войны в целом. Интересно оно для нас и в том отношении, что показывает, какую определяющую роль играет наша литература — классическая и современная, советская — в мировом литературном движении: именно ее опыт является для Стэнли Хаймэна основой для решения поставленных им вопросов.

Выступление Хаймэна симптоматично. Победоносное окончание борьбы Объединенных наций с фашизмом, явившееся завершением важнейшего этапа мировой истории и началом нового, — не менее значительного, — определяет и возникновение новых задач, встающих перед литературой.

Если в годы войны писатель в основном был летописцем ее и организатором общественного сознания для борьбы с опаснейшим врагом человечества, то сейчас наступает время перехода к созданию произведений обобщающего характера. Они должны вобрать в себя колоссальный опыт, накопленный в годы войны, призвать к переустройству мира, исключаящему самую возможность такой угрозы свободе народов, какая выросла в Германии благодаря преступному попустительству фашизму в предвоенные годы.

Тем более существенные задачи встают перед советскими писателями — писателями страны, духовная и материальная мощь которой явилась решающим фактором разгрома фашизма и спасения мировой культуры.

Уже наступило время, когда наши писатели и критики могут начать подводить итоги сделанному за годы войны и осмыслить те новые требования, которые предъявляет к ним жизнь после победы.

Но случайно внимание Стэнли Хаймэна обращено прежде всего именно к нашей литературе, с каждым годом занимающей все более видное место в литературе мировой. Ее деятелям было бы полезно откликнуться на вопросы, затронутые их американским коллегой. Редакция охотно предоставит место выступлениям наших писателей и критиков на эту тему.

Прежде всего — по существу вопроса. При чтении заголовка настоящей статьи возникают два вопроса. Во-первых: чем, собственно, плоха старая «Война и мир»? И, во-вторых: где эта новая «Война и мир», нельзя ли взглянуть на нее? Внесем сразу же ясность. Старая «Война и мир» хороша всем, или почти всем. Новой — пока в природе не существует.

Выбор романа Толстого в качестве отправного пункта для обсуждения проблем военной литературы вообще, и литературы нынешней войны в частности объясняется тем, что это дает возможность правильно ориентироваться. Вопреки ходячему мнению, «Война и мир» не является, вероятно, лучшим романом в литературе (хотя в данный момент я затруднился бы назвать другой), но лучшим военным романом ее, несомненно, можно признать. Быть может, Толстому не доставало всеобъемлющего гуманизма Сервантеса и Бальзака или психологического проникновения Мельвила и Достоевского, но зато он обладал широтой и ясностью кругозора, каких нет ни у одного из названных авторов, и потому лучше их мог подойти к такой огромной теме, как тема войны.

Итак, приняв «Войну и мир» Толстого за образец произведения о войне, удовлетворительного в самом широком смысле слова, автор этого очерка ставит себе целью проанализировать те условия, при которых могло бы возникнуть равноценное произведение на материале нынешней войны, а попутно и рассмотреть то, что уже написано об этой войне. Для начала необходимо обсудить некоторые общие положения, вытекающие из сущности и задач военной литературы, и выяснить основной вопрос: какие черты самого произведения и личности автора явились

определяющими для успеха «Войны и мира» и какие не имели существенного значения.

Вспомним вкратце, что же такое «Война и мир». Это большой исторический роман в пятнадцати частях, с двумя эпилогами, охватывающий несколько крупных этапов истории наполеоновских войн — поход 1805 года на Австрию и Моравию, закончившийся Аустерлицким сражением; поход 1807 года на Польшу и Россию, закончившийся миром и заключением союза между Наполеоном и императором Александром; и, наконец, злополучное вторжение в Россию в 1812 году. Вперемежку с этим обширным военно-историческим материалом повествуется о личных судьбах многочисленных персонажей, реальных и вымышленных, причем в центре стоит группа лиц, принадлежащих к четырем или пяти русским аристократическим фамилиям.

Толстой писал «Войну и мир» между 1863 и 1869 годами, то есть более полувека спустя после описанных им событий. Когда он приступал к этой работе, ему было тридцать пять лет, и во время ее, — как, впрочем, и всю жизнь, — он жил на доходы со своего имения. Материалом ему служили исторические памятники, различные старые записи, рассказы очевидцев и семейные предания. Он настолько владел предметом, что в целом ряде вопросов мог корректировать официальных историографов. Прототипами центральных персонажей романа явились во многих случаях члены его семьи, предки, родственники и свойственники; в образах двух главных героев, Пьера и Андрея, много черт его старшего брата и его собственных.

Толстой располагал достаточно богатым личным военным опытом,

В 1851 году он поступил в армию, служил на Кавказе и в 1854 году уже командовал артиллерийской ротой. Когда началась Крымская война, он был переведен, по личной просьбе, в действующую армию, и с ноября 1854 года до сентября 1855 года участвовал в обороне Севастополя против англичан и французов. После окончания войны он вышел в отставку и остаток своей жизни посвятил народному просвещению, литературной работе и управлению своим поместьем.

Выбор темы для романа не был, видимо, продиктован какими-либо внешними побуждениями. Вначале Толстой предполагал писать широкое историческое полотно на материале декабристского движения (раннее революционное брожение в России, закончившееся восстанием 1825 г.), но изучение корней декабризма привело его к истории наполеоновских войн.

Композиционно книга представляет собой сплетение двух самостоятельных произведений — семейной хроники нескольких дворянских родов и истории вторжения Наполеона в Россию; причем оба настолько значительны по масштабу и разработке темы, что понятие фона не приложимо ни к тому, ни к другому. Центральной идеей романа является тема обращения, или возрождения; война выступает в нем как грандиозный очистительный ритуал, пройдя через который основные персонажи осознают себя в единстве уже не с аристократией, но с народной, крестьянской массой. Из трех главных героев книги один, князь Андрей Болконский, погибает на поле боя, второй, граф Николай Ростов, вернувшись с войны, становится землевладельцем и у собственных крепостных заимствует знания и правильное понимание жизни, третьего, графа Пьера Безухова, приводит на новый путь крестьянин Платон Каратаев, встретивший им во французском лагере военнопленных, и после смерти Каратаева Пьер как бы «вбирает в себя» его личность. Залог будущих свершений дан в образе Николеньки Болконского; сын Андрея, воспитанный в доме, он символически воплощает в себе черты всех троих и пройденным им путем к обращению. Таким образом основная идея романа, выраженная в аллегорической форме, сво-

дится к следующему: правящий класс России, пройдя через горнило «народной войны», возрождается под духовным руководством крестьянства, и в символическом образе молодости его надежды и интересы сливаются с интересами крестьянства и нуждами социального прогресса.

Фактически, в самом повествовании Толстой уделяет крестьянству очень немного места. Все главные герои принадлежат к русской знати; в первой половине книги, если не считать слуг, нет ни одного персонажа, взятого из низших слоев общества, и только во второй половине, уже после вторжения французских войск, появляется несколько крестьянских фигур, из которых наиболее значителен Каратаев, бессознательно совершающий обращение Пьера Безухова. Таким образом, роман Толстого вовсе не показывает нам, как принято считать, жизнь всего русского общества, взятую в поперечном разрезе, но лишь жизнь высших классов, а остальные слои общества даны им лишь в условном символическом плане.

С другой стороны, Толстому нередко предьявлялось обвинение в том, что его изображение эпохи поверхностно, неверно, что он проходит мимо самых отрицательных сторон общественной жизни. В статье «Несколько слов по поводу «Войны и мира» сам Толстой пытался отвергнуть это обвинение. Он писал:

«Характер времени, как мне выражали некоторые читатели при появлении в печати первой части, недостаточно определен в моем сочинении. На этот упрек я имею возразить следующее. Я знаю, в чем состоит тот характер времени, которого не находят в моем романе,— это ужасы крепостного права, закладывание жен в стены, сечение взрослых сыновей, Салтычиха и пр., и этот характер того времени, который живет в нашем представлении, я не считаю верным и не хотел выразить. Изучая письма, дневники, предания, я не находил всех ужасов этого буйства в большей степени, чем нахожу их теперь или когда-либо. В те времена так же любили, завидовали, искали истины, добродетели, увлекались страстями, та же была сложная умственно-нравственная жизнь, даже иногда более уточненная, чем теперь в выс-

шем сословии. Ежели в понятии нашем составилось мнение о характере своевольства и грубой силы того времени, то только оттого, что в преданиях, записках, повестях и романах до нас наиболее доходили выступающие случаи насилия и буйства. Заключать о том, что преобладающий характер того времени было буйство, так же несправедливо, как несправедливо заключил бы человек, из-за горы видящий одни макушки дерев, что в местности этой ничего нет, кроме деревьев. Есть характер того времени (как и характер каждой эпохи), вытекающий из большей отчужденности высшего круга от других сословий, из царствовавшей философии, из особенностей воспитания, из привычки употреблять французский язык и т. п. И этот характер я старался, сколько умел, выразить».

Не касаясь вопроса о том, какова самозащита Толстого, стоит отметить, что он не только занимает оборонительную позицию, но считает необходимым подтвердить свою преимущественную заинтересованность жизнью верхних слоев русского общества.

И наконец в основу книги Толстой положил свою теорию исторического процесса, которую грубо можно характеризовать как теорию «беспричинного предопределения», причем народным массам приписывается роль значительно большая, чем их номинальным вождям. Изучая исторические судьбы людей, Толстой приходит к выводу, что физическая активность человека в историческом процессе обратно пропорциональна степени сознательного участия в нем; но он не может найти иной причины, обуславливающей ход этого процесса, кроме довольно расплывчатого понятия божьей воли. Зато он делает одно заключение негативного порядка: что бы ни направляло судьбы людей, это, во всяком случае, не сила идеи. Таким образом, всю наполеоновскую военную эпопею он упрощенно изображает в виде движения огромных людских масс на восток, и затем — противодвижения на запад. Этой исторической теории уделено много места в книге — ей посвящены длинные дидактические отступления, а также весь второй эпизод.

В связи с этими беглыми замечаниями о «Войне и мире» Толстого

возникает целый ряд общих вопросов, существенных для современной литературы о войне (а особенно для новой «Войны и мира»), и в первую очередь необходимость определить, какие из отмеченных признаков являются обязательными, и какие — случайными.

Вот, вкратце, эти вопросы.

Является ли форма исторического романа наиболее подходящей или даже единственной для художественного произведения о войне? Изменилось ли в этом смысле положение со времен Толстого до наших дней? Иначе говоря, должна ли новая «Война и мир» быть непременно историческим романом?

Необходима ли дистанция в полвека или около того, чтобы материал военных событий претворился в произведение большого искусства?

Должен ли наш современный автор разделять то положительное отношение к войне, которое было у Толстого, должен ли он рассматривать войну как некое «этическое благо»? Должна ли это быть «народная война», как ее называл Толстой, или же, как говорим мы — «война за национальное освобождение», «оборонительная война», «революционная война», война против угнетения и агрессии в той или иной форме? И отсюда другой вопрос: можно ли сравнивать нынешнюю войну с войной Толстого?

Может ли современный автор, в отличие от Толстого, быть участником описываемых военных событий и обязателен ли для него вообще некоторый военный опыт, какой у Толстого имелся?

Должен ли его роман представлять такое широкое полотно?

Должен ли автор принять историческую теорию Толстого и нужна ли ему вообще историческая теория?

И наконец какими еще особенными данными должен обладать автор новой «Войны и мира» — талант, происхождение, литературный опыт и подготовка, твердый доход, преемственная связь с литературной традицией и т. д.

Короче говоря, возможно ли в наше время создание новой «Войны и мира» как художественного выражения борьбы против фашизма и ка-

кие условия необходимы для ее появления?

После краткого обзора современной литературы о войне мы попытаемся по возможности дать ответ на перечисленные вопросы.

Прежде чем начинать разговор о современной военной литературе, полезно вспомнить, хотя бы вскользь несколько образцов той литературы, которую вызвала к жизни первая мировая война. Она довольно многочисленна, хотя прошло не полвека, а всего лишь двадцать пять лет.

Одно из величайших классических произведений о войне — «Огонь» Анри Барбюса — появилось в 1917 году, когда война еще продолжалась. В двадцатых годах вышли четыре из пяти крупнейших американских военных романов: «Три солдата» Джона Дос Пассоса (1921), «Огромная комната» Э. Э. Кэммингса (1922), «Солдатская получка» Уильяма Фолькнера (1926), «Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя (1929). Пятое произведение, которое по праву может быть отнесено к этой группе, — «Рота К» Уильяма Марча, — появилось в 1933 году. К 1928 году относятся наиболее значительное (хотя и не лучшее) произведение немецкой литературы о войне — «На западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка. Лучшие пьесы на военную тему, как «Цена славы» Андерсона и Столлингса и «Конец пути» Шеррифа, тоже появились в двадцатых годах.

Есть, конечно, особые случаи. Жюль Ромэн все еще пишет свою военную эпопею, упорно продолжая выпускать том за томом. До сих пор не закончено произведение, которое может оказаться самым значительным из всего, что написано о той войне, — «Сага о терпеливом пехотинце» Жюзефа Уиттлина. Первый том, вышедший в Америке под названием «Соль земли», был написан между 1925 и 1935 годами, два других тома еще не увидели света. И наконец в годы 1925—1940 было создано величайшее произведение этого периода, которое, однако, лишь с натяжкой можно назвать книгой о войне: «Тихий Дои» Михаила Шолохова — книга прежде всего о революции и гражданской войне в России.

Все названные произведения объединяются целым рядом общих черт.

За исключением шолоховского романа, в котором речь идет о принципиально иной борьбе, и «Людей доброй воли» Жюль Ромэна, где установки автора меняются от тома к тому, все они проникнуты острым чувством протеста против войны, которой посвящено их содержание. Все, кроме одного или двух, написаны, или во всяком случае начаты, в двадцатых годах. Авторы, исключая разве Жюль Ромэна, в той или иной мере обладают личным опытом военной службы, хотя и не все побывали на фронтах. Предпочтительная литературная форма — роман личного плана, и общий охват событий значительно уже, чем у Толстого. Исключения составляют Жюль Ромэн, Уиттлин и Шолохов; в последнем случае можно говорить об аналогии с «Войной и миром».

Но между мировой войной четырнадцатого года и наполеоновскими походами, о которых писал Толстой, есть принципиальное различие, и его нельзя забывать. Для Толстого основная особенность войны 1812 года заключалась в том, что это была «народная война», национальное усилие, направленное на то, чтобы изгнать захватчика, и что несмотря на господствовавшую в России тиранию, несмотря на все упрямые факты действительности, осложнявшие прямолинейную постановку вопроса, — дело, за которое боролся русский народ, было, несомненно, правым делом в моральном, этическом смысле.

Для любого из названных выше авторов, писавших о первой мировой войне, такой подход был исключен. Их протест носил самый разнообразный характер, от марксистской концепции империалистической войны (у Барбюса) до простой вневолитической ненависти к насилию, жестокости и убийству у некоторых из молодых американцев; но так или иначе, все они видели в этой войне явление глубоко отрицательное и не оправданное никаким внутренним смыслом.

На ту же позицию встали и поэты — Уилфред Оуэн, Зигфрид Сассун и другие, — выражая свой протест зачастую еще в более резкой форме. Существовала, разумеется, и милитаристская литература, но ее составляли, в основном, произведения невысокого художественного уровня, написанные на скорую руку еще во время

войны, и они оказались недолговечными. Быть может, самое значительное произведение о первой мировой войне еще не написано, быть может, для его появления должны пройти толстовские полвека, но едва ли это будет нечто равное «Войне и миру».

Трудно найти двух людей, которые одинаково ответили бы на вопрос о том, когда началась нынешняя война (1939 г. является, конечно, чисто формальной датой), но можно с уверенностью сказать, что первая волна настоящей литературы о ней была вызвана к жизни событиями в Испании. По крайней мере две книги из этой волны относятся, несомненно, к большой литературе — «Крестовый поход» Густава Реглера и «Надежда» Мальро.

Книги Реглера и Мальро во многом сходны как по силе художественного выражения, так и по своим недостаткам. Оба автора сражались в Испании и описывают отдельные этапы борьбы испанского народа с долгием страстью и увлечением, но необходимость изобразить только часть событий, и притом ту, которая давала простор «надеждам» (знаменательно, что роман Мальро, который так и называется — «Надежда», появился даже до окончания войны), ограничивало возможности авторов.

О героической борьбе, которую ведет народ Китая, нам известна только одна книга — «Деревня в августе» Тьен Чена (1935). В основу сюжета этой книги легла партизанская борьба крестьян Манчжурии против японских захватчиков после мукденского инцидента 1931 года. Автор — солдат и никогда не был профессиональным писателем, но ему удалось достигнуть поистине примечательного успеха: его книга — первое произведение современной китайской литературы, дошедшее буквально до миллионов читателей и немало способствовавшее укреплению единства в борьбе с японцами, которое является основной задачей в этой войне. Таким образом, «Деревня в августе» явилась реальным достижением молодой народной литературы Китая. Однако те самые простота и непосредственность воздействия, которые определили успех книги у массового читателя, а также отсутствие настоящей литературной традиции, какую обладает современный западный роман, суживают значение

«Деревни в августе» и мешают ей стать тем глубоким и всеобъемлющим произведением, которого мы ждем.

Уже можно назвать одно значительное произведение о войне, написанное русским автором, это — «Последние дни Севастополя» Бориса Войтехова, скорее, впрочем, репортаж, чем роман. «Падение Парижа» Ильи Эренбурга, как военный роман, нас не удовлетворяет; слишком уж все в нем сосредоточено на мрачной и запутанной политической жизни Франции. Книга, однако, имеет особый интерес, как единственная (если не считать длинный и скверный роман молодого американского автора Поля Хьюза «Отступление от Ростова») попытка создать серьезное произведение о войне на материале чужой страны (слово «серьезное» исключает халтурную книжку Стейнбека «Луна зашла» и некоторые другие).

Помимо «Последних дней Севастополя», книги очень яркой, волнующей, далеко превосходящей все, до сих пор написанное в этом жанре, русские дали немало других образцов прекрасного военного репортажа — достаточно назвать имена того же Эренбурга, Евгения Петрова, Полякова. Много из написанного ими, несомненно, может лечь — и, вероятно, ляжет — в основу большого художественного произведения, но пока мы еще не знаем ни одного сколько-нибудь значительного романа о военных событиях в России — по крайней мере в английских переводах.

Военные усилия Англии до сих пор не нашли себе отражения в литературных произведениях, о которых стоило бы говорить. Появились несколько интересных сборников военных рассказов, в частности Элэна Льюиса и Х. И. Бэйтса, и два-три неплохих романа о жизни тыла, но больших полотен, трактующих военную тему, пока не видно.

Из всего, что написано в Англии о войне, на первом месте стоят, пожалуй, книги участников военных событий — такие, как «Падение в пространстве», волнующий рассказ о воздушных боях молодого летчика Ричарда Хайлэри, впоследствии убитого в бою; две книги о войне на море Николаса Монсаррата или типично английская книжка о Дюнкерке молодого автора Энтони Родса.

Франция дала несколько произведений, принадлежащих к числу луч-

ших книг о войне (Габэ, Малакэ, Сент Экзюпери и др.). Почти все они одного типа: полные боли рассказы очевидцев о смятении, предательстве, действиях, лишенных реального смысла,—ценнейшие человеческие документы, способные глубоко взволновать читателя, но лежащие в совершенно ином плане, нежели грандиозные исторические обобщения, которые можно было бы поставить рядом с шедевром Толстого.

Нужно отметить, что во всех четырех странах появилось за это время изобилие военной поэзии. По вполне понятным причинам из Франции до нас дошло лишь немногое — отдельные вещи таких поэтов, как Луи Арагон, и почти ничего больше. Китайская военная поэзия, по имеющимся сведениям, очень богатая, почти совершенно не известна на западе. Зато английские поэты, а также русские в английских переводах, очень широко представлены в американской печати. Россия, повидимому, переживает период бурного поэтического возрождения; ее поэты творят в тесной и непосредственной общении с боевой действительностью, стихи читаются в армейских и рабочих аудиториях, их порой кладут на музыку и распевают по всей стране.

Об английском поэтическом творчестве стоит поговорить особо. В 1942 году в Америке вышел сборник под названием «Стихи молодых об этой войне», в который вошли типичные образцы английской поэзии последних лет. За очень немногими исключениями, это технически хорошо сделанные стихи, но пустые и выжженные. Настроения, проникающие эту поэзию, ничем не отличаются от настроений, господствовавших в прошлую войну,— те же образы, те же чувства тоски, пустоты, полного неверия в идеалы и перспективы и чисто физическое отвращение к крови и грязи войны.

Нынешняя война принципиально отличается от войны четырнадцатого года,— достаточным подтверждением тому может служить хотя бы прозаическая литература, уже рожденная этой войной,— и подобные настроения молодых английских поэтов можно расценивать только как формальные перепевы чужих мотивов, не отвечающих ни их собственному жизненному

опыту, ни духу английского народа. Попытка объяснить это явление (кстати сказать, оно не в редкость и среди американских поэтов, особенно из солдатской среды) увела бы нас за пределы задач настоящего очерка, но закрывать глаза на действительность все же не приходится.

Особую группу составляют книги немецких, австрийских, чешских писателей, находящихся в эмиграции. Их вышло за последнее время довольно много, и среди них есть произведения, принадлежащие к лучшему, что до сих пор написано о войне. На первом месте здесь, бесспорно, должен быть поставлен антинацистский роман Анны Зегерс «Седьмой крест», о немецком подполье во время войны,— произведение огромной впечатляющей силы. «Заложники» Стефана Гейма и «Заря занимается» Ф. Вайскопфа, повествующие о подпольной борьбе в порабощенной Чехословакии, стоят несколько ниже в художественном отношении, но эмоциональное воздействие их, пожалуй, не меньше. В сущности говоря, все три книги представляют собой приключенческие романы в лучшем смысле этого понятия; такая форма почти неизбежна для произведения, повествующего о подпольной борьбе, но она, естественно, ограничивает возможности автора, и потому даже лучший образец литературы этого рода (как, скажем, роман Зегерс) может разрешать военную тему лишь в замкнутом круге,— тогда как роман Толстого являет собой торжество экстенсивного охвата темы.

Прошло уже больше двух лет, с тех пор как Америка вступила в войну, и все же за это время не появилось ни одного сколько-нибудь значительного произведения на военную тему. Вообще в военной литературе самых разнообразных жанров недостатка не было; каждый издатель, стремясь не отстать от других, спешил выпустить два-три томка репортажа, две-три «солдатских» книги, то есть таких, авторами которых являются сами военные, и т. п.; но все эти произведения, как правило, банальны, однотипны и мало чем отличаются друг от друга. Романов о войне вышло очень мало, крупных — ни одного.

Самым распространенным видом издания является до сих пор корреспондентский рассказ о военных действиях, очевидцем которых автору привелось быть. Из огромного потока этой литературы стоит выделить книжку Джона Херся о Батаане, Айры Уолферта о боях на Соломоновых островах и, прежде всего, «Дорогу обратно в Париж» А. Дж. Либлинга. Репортаж Либлинга, видевшего войну в Англии, Франции и Северной Африке, находится на уровне лучших русских книг этого жанра.

«Солдатских» книг появилось почти так же много. Они делятся на три довольно четко разграниченные группы: описания жизни в учебных лагерях, большую часть юмористического порядка, как «Записки рядового Харгрова» Мэрион Харгров, «Армейская жизнь» И. Дж. Кана и др.; приключения в чужих странах типа «До востребования» Томаса Р. Сент-Джорджа или «Джунгли» того же Кана, и наконец рассказы о боях. Авторы книг последней группы чаще всего летчики — по той простой причине, что из наземных американских сил лишь небольшой процент принимал уже участие в непосредственных военных действиях, а из тех, кто принимал, мало у кого была возможность написать об этом. Можно назвать «Бог у меня вторым пилотом» полковника Роберта Скотта и «Небо свидетель» лейтенанта Томаса Мура. Из «пехотных» авторов заслуживает упоминания майор Ральф Ингерсолл, написавший отличную книгу «Расплата боем» о небольшом сражении в Тунисе, в котором ему лично пришлось участвовать, но его прежние навыки профессионального журналиста привели к тому, что книга по характеру ближе к безразличному корреспондентскому отчету, чем к живому рассказу участника событий.

Нечто среднее между репортажем и «солдатскими» книгами представляют многочисленные рассказы о военных событиях, записанные со слов очевидцев. Из этой категории если не лучшими, то во всяком случае наиболее популярными являются две книги Уильяма Л. Уайта — «Расход невелик» и «Королевы умирают с достоинством». Фактически все «солдатские» произведения проходят литературную обработку в той или иной степени — от основательного редактирования до

прямой подмены автора, и заслуга Уайта в том, что он открыто ввел в употребление форму репортерской записи чужого рассказа вместо литературного фальсификата.

Среди повествований «из личного опыта» особое, почти символическое значение имеют «плотовые» истории — рассказы о людях, чудом спасшихся при кораблекрушении. Начало этой серии положил англичанин Гай Пирс Джонс, который в своей книге «Двое уцелевших» описал приключения двух английских моряков, проплававших семьдесят три дня на спасательной шлюпке. За этой книгой последовали две превосходных американских повести: «Плот» Роберта Тернбулла — о трех офицерах американской морской авиации, которые провели тридцать четыре дня на углой резиновой лодке, и «83 дня» Марка Мэрфи — путешествие матроса Иззи и двух его товарищей-голландцев на дощатом плоту. Книга Мэрфи написана так живо, что репортаж в ней поднимается до уровня художественной литературы, но значение ее не в этом. Все три названных произведения интересны одной особенностью, связанной с их содержанием. Волнующие приключения героев такого «плотового» рассказа, силою событий поставленных в исключительное положение, изолированных от действительности, приобретают своего рода символический смысл для современности, подобно тому, который для восемнадцатого века имела капиталистическая утопия Робинзона Крузо.

Вокруг всех этих видов военной литературы выросло огромное количество чисто коммерческих изданий, рассчитанных на армейского потребителя книги: солдатские пьесы, солдатские стихи, дневники, письмовники, юмористические листки, сборники карикатур, анекдотов и т. п. Кое-что из этих однодневок делается на высоком уровне мастерства, как например соображение армейских карикатур Дэва Брегера, пародийные солдатские рассказы Гарри Броуна с иллюстрациями Ральфа Штейна, некоторые коллекции писем имеющие серьезное документальное значение и насыщенные подлинным чувством, но в целом все это — материал, имеющий лишь косвенное отношение к литературе.

Значение «солдатских» книг в основном определяется той символи-

кой функцией, которую они призваны выполнять. Каждый этап военной карьеры требует сложнейшего процесса перестройки, приспособления психики, и писатели во всем мире стремятся облегчить этот психологический процесс. До настоящего времени «солдатская» литература Америки занималась главным образом первым этапом — периодом превращения обыкновенного гражданина в гражданина, одетого в военную форму, периодом учебного лагеря, — и помогала процессу приспособления главным образом через юмор, через почти фарсовую подачу столкновения человека с его новыми жизненными задачами. Так содалась комедийная фигура грозного сержанта в качестве символа армейской дисциплины и т. п.

Книги, играющие вспомогательную роль для следующей стадии — приспособление к солдатской жизни в чужих краях накануне непосредственного участия в боевых операциях, — значительно меньше используют лечебную функцию юмора и возникающие проблемы стараются разрешить на основе реалистического изображения.

Третий этап — фактическое участие в боях, когда встает основная проблема права на убийство в аспекте как личной, так и более широкой общественной морали, — до сих пор еще почти не получил освещения в книгах американских солдат. Только отсюда, из этого периода окончательного приспособления, может пойти настоящая большая литература о войне; но следует сказать в защиту более легких произведений, что, лишь пройдя отраженные в них предварительные этапы, солдат может подойти к разрешению кардинальных проблем, которые должны быть поставлены в серьезной литературе.

Если вся американская литература о войне сводится к корреспондентским и «солдатским» книгам, возникает естественный вопрос — что же делают наши писатели?

Что бы они ни делали, дела их имеют весьма отдаленное отношение к войне. Хемингуэй, самый значительный, быть может, из живущих американских писателей, не напечатал ничего, кроме военной антологии, в предисловии к которой предлагает... подвергнуть всех немцев стерилизации.

Стейнбек написал шумевшую вербовочную агитку для военно-воздушных сил США, которую по литературному значению едва ли можно поставить рядом с «Гроздьями гнева». Фаррел с самого вступления Америки в войну занимался дописыванием своей скучнейшей тетралогии о Дэнни О'Нилле, а теперь, по слухам, собирает новые документальные материалы для «Нью-Йоркского интеллигента». Дос Пассос занялся скверной беллетризацией биографии Хью Лонга. Фолкнер продолжает свои раскопки прошлого Миссисипи. Синклер Льюис написал книгу, избоблачающую «филантробандитов». Эрскин Колдуэлл, после одной или двух репортерских книг о войне в России, напяртал на редкость пустой роман о русских партизанах. Одним словом, все наши ведущие романисты двигаются каждый в своей колее и усиленно обходят военную тему. Более молодые или сражаются на фронтах, так что их книги появляются только после войны, или шьют лоскутные коврики по заказам Голливуда, или иногда пишут книги, затрагивающие в лучшем случае тыловые будни. Кое-кто из молодых писателей, находящихся в армии, как например Джон Чивер, Джером Вейдман, Эдвард Ньюхауз, Ирвин Шоу опубликовали неплохие рассказы из походной жизни. Но общая тенденция продолжает оставаться уклончивой.

Беглый обзор книг, написанных после первой мировой войны, и тех, которые успели уже появиться за время второй, позволяет нам подойти к ответу на вопросы, сформулированные в начале статьи.

Можно считать доказанным, что единственной литературной формой, способной охватить весь круг проблем, связанных с современной войной, является роман. Поэма, пьеса или кинофильм слишком фрагментарны и могут лишь в короткой вспышке осветить сущность событий. Репортажу, даже в самых лучших его образцах, нехватает той глубины, и полностью перспективы, которую художественному произведению придают законченные человеческие образы. Новелла, юмористический рассказ неизбежно поверхностны. Лишь в романе могут быть выполнены все условия, предъявляемые большой военной литературе, и более того: это должен быть

многопланнный исторический роман, именно такой, как «Война и мир» Толстого. Более ограниченные по своим возможностям, романы личного плана, даже самые лучшие, как «Огонь» Барбюса, не покрывают всей совокупности явлений войны, оставаясь в пределах единоличного опыта. В те времена, когда война была проще, когда она затрагивала непосредственно лишь небольшую группу сражающихся, единая линия драматического развития легко и естественно укладывалась в форму эпической поэмы или саги. Но современной войне, во всей ее многомерной сложности, войне, в которую оказываются втянутыми целые нации, могут соответствовать лишь крупные масштабы исторического романа, и для нашей эпохи тотальных войн это еще более справедливо, чем для эпохи Толстого.

На вопрос о сроке ответить труднее. Какой-то срок, повидимому, все-таки необходим; ведь и после первой мировой войны понадобились десятилетия, для того, чтобы созрела литература о ней. Что же до нынешней войны, то в Америке, которая воюет вот уже два года, до сих пор ничего по-настоящему о ней не написано. Однако толстовская дистанция в полвека, пожалуй, для нашего времени необязательна. Быть может, и для Толстого это был в какой-то мере случайный срок, но даже если считать его закономерным, нужно принять во внимание изменившиеся условия. Во времена Толстого пятидесяти лет, истекших от наполеоновских войн до написания его романа, как раз хватило на то, чтобы накопилась необходимая документация и создалась историческая перспектива. В наши дни подробная газетная информация, радио и непрерывный поток военной литературы малых форм позволяет нам каждое утро получать довольно верную, хотя и мозаичную картину военных событий, и каждый вечер увидеть ее уже в некоторой перспективе. Несколько лет должно все же пройти для того, чтобы выяснились кое-какие истины, улеглись страсти и отстоялись точки зрения, и еще несколько, естественно, потребуется для неторопливой и обстоятельной работы над большим произведением, но в общем, если нашей эпохе суждено увидеть свою «Войну и мир», это может произойти уже

лет через десять после окончания войны.

Едва ли успех Толстого зависел от того факта, что он избрал в качестве материала отцовскую или даже дедовскую историческую эпоху; кое в чем такой выбор даже осложнил его задачу — трудность получения достоверных личных материалов, например¹.

Что касается отношения автора к войне, о которой он пишет, то нам представляется, что оно должно быть в определенном смысле положительным. Вся большая литература о войне (1914 — 1918 гг.) исходила из антимилитаристической установки, и мы видели, что даже в лучших своих образцах, как книга Барбюса или классические военные романы американских авторов, она неизбежно сбивалась с исторического плана на личный. Когда войну оцениваешь положительно, можно утверждать усилия коллектива; когда войну оцениваешь отрицательно, утверждать можно только достоинство индивидуальной человеческой личности², — а это уже будет совсем иная книга, не та, о которой мы тут поговорим.

Литература нынешней войны (при всех своих недостатках) в подавляющем большинстве примеров исходит из признания ее положительного значения, и, поскольку речь идет о данном условии, мы теперь вправе рассчитывать на появление новой «Войны

¹ Настоящие мотивы, определившие выбор Толстого, вероятнее всего следует искать в том, что им владела неотступная потребность утвердить социально-положительную роль правящего класса России, к которому он принадлежал сам. Поэтому ему нужна была такая историческая эпоха, когда этот класс выполнял прогрессивную функцию, и время наполеоновского нашествия оказалось самым подходящим. Вообще говоря, автору исторического романа всегда присуща тенденция перенести свой личный конфликт в общий план истории, и при выборе темы, теоретически вполне «свободном», он неизбежно обращается к тем историческим событиям, которые отвечают его личным надобностям и стремлениям.

² Или, подобно Жану Малакэ, можно вовсе ничего не утверждать.

и мира, тогда как после войны четырнадцатого года это было невозможно.

Эта дискриминация установок приводит нас к следующему вопросу — об объективной природе самой войны. Всякая война (если даже рассматривать военные усилия одной страны) есть явление сложное и многообразное, включающее в себя все элементы и стороны общественной жизни. При этом, однако, всегда есть какая-то доминирующая тенденция, что и дает основание рассматривать войну с одной стороны, относя все прочие присущие ей элементы к ошибкам, компромиссам, неизбежным погрешностям. В силу динамики общественных действий война которая ведется и трактуется под углом основной тенденции, постепенно теряет противоречивые черты и приобретает все более единый и последовательный характер.

Сопrotивление русских наполеоновскому вторжению, по всеобщему признанию, явилось «народной» войной, и к этой же категории — в разной степени для разных стран — можно отнести сопротивление объединенных наций фашистской агрессии. По признанию еще более единодушному (вопреки упрощенческим тенденциям некоторых редакционных Солонов, упрямо старающихся представить первую мировую войну в образах и понятиях второй) военные усилия всех крупных держав 1914—1918 годов носили преимущественно империалистический характер.

Нынешняя же война по своему характеру сближается с войной 1812 года, тогда как прошлая совершенно отлична от них обеих. Есть в «Войне и мире» великолепные страницы, где Толстой сравнивает военные усилия французов с фехтованием по всем правилам искусства, а военные усилия русских — с действиями человека, который, «поняв, что дело это не шутка, а ввязавшись его жизни, бросил шпагу и, взяв первую попавшуюся дубину, начал ворочать ею». Эти страницы вполне могут служить выражением «народного» характера нынешней войны.

Термины «империалистическая война», «народная война» имеют двойной смысл: с одной стороны, они определяют цели и причины войны, с дру-

гой — тот характер боевых действий, который обусловлен этими целями и причинами. Как показывает Толстой на протяжении всего своего романа, там, где война преследует достижение материальных выгод, она должна вестись ограниченными силами регулярной армии и по всем правилам формальной стратегии; там же, где речь идет о защите отечества, находящегося в опасности, принимает участие весь народ, и это участие выливается в форму таких явлений, как партизанская борьба. Таким образом можно, например, утверждать, что в первую очередь Россия и Китай ныне ведут «народную войну»... Это позволяет определить позиции разных писателей и подтверждает положение, что истинно великие произведения о войне могут возникнуть только на основе положительной оценки.

На вопрос о том, должен ли автор быть физическим участником военных событий, трудно дать определенный ответ. В конце концов всякий, кто может во время войны в какой-то степени принимать в ней участие, и всякий, кто пишет о войне, неизбежно отражает свое личное отношение к ней. Толстой считал, что писать о войне, в которой принимал непосредственное участие, нельзя. В «Войне и мире» он говорит:

«Закон, воспрещающий нам вкушать от плодов древа познания, особенно приложим к историческим событиям. Лишь бессознательное действие приносит плоды, и тот, кто сам участвовал в историческом событии, не в силах постигнуть его значение».

Это — часть исторической теории Толстого об обратном пропорциональном отношении между участием и осознанием, не более, впрочем, непреложной, чем многие другие его теории. В защиту ее можно сказать лишь одно: сам Толстой не был участником той войны, которую описывал, а описал он ее мастерски. Но, с другой стороны, «Тихий Дон» — произведение современной литературы, больше всех приближающееся к «Войне и миру», написано человеком, непосредственно принимавшим участие в событиях, о которых идет речь, как и все почти авторы современных военных романов. Повидимому, вопрос этот не имеет существенного значения, и личное уча-

стве и войне не облегчает и не затрудняет задачи писателю, вознамерившемуся создать новую «Войну и мир»¹.

Вместе с тем совершенно очевидно, что автору, пишущему о войне, нужен хотя бы небольшой военный опыт. За пятьдесят лет после Наполеона характер русской армии и методы ведения войны изменились очень мало, и Толстой, описывая 1812 год, мог использовать тот опыт, который он приобрел в 1854 году. Однако в следующем периоде дело обстояло иначе. От рукопашного боя с применением примитивных артиллерийских операций слишком уж далеко до нашей военной техники, наших танков и самолетов. Даже за время между обеими мировыми войнами двадцатого века условия изменились настолько, что сегодня писателю уже недостаточно тех знаний, которые он вынес из прошлой войны, и для того, чтоб быть на уровне своей задачи, ему необходим некоторый опыт, почерпнутый если не из нынешней войны, то хотя бы из предшествовавших ей военных эпизодов — как например, испанские события. Если принять эту точку зрения, то в ней уже заключен ответ на вопрос о личном участии автора в описываемых им военных событиях.

Вопрос о масштабах изображения решается сам собой. Размах Толстого, количество и разнообразие его персонажей, разработка деталей — все это органические части того целого, которое определило успех «Войны и мира». Крупные формы здесь необходимы. Современная война и жизнь современного общества настолько сложнее, нежели во времена Толстого, что правильно отобразить эту сложность может лишь произведение не меньших — если не больших — масштабов, чем «Война и мир».

Совершенно очевидно, что роман личного плана, где все сведено к ощущениям одного человека и к тому узкому участку войны, который

находится в пределах его восприятия, при всех своих психологических глубинах бессилён подняться до эпической силы и ясности перспектив «Войны и мира». Казалось бы, смешно измерять значительность художественного произведения числом страниц, но от истины не уйдешь, и нужно признать, что автор новой «Войны и мира» должен проделать труд поистине огромный.

Что касается исторической теории, то было бы нелепо утверждать, что для создания произведения, равноценного «Войне и миру», необходимо разделять исторические взгляды Толстого. Но при всей своей несостоятельности — с нашей, современной точки зрения — эта теория сыграла свою роль для Толстого. Теория исторического процесса необходима для того, чтобы целесообразно организовать материал романа и сделать осмысленной линию поведения действующих лиц. Конечно, проще всего сказать, что это должна быть марксистская теория или одна из производных от марксизма, — но ведь и в самом деле, из десятка современных систем мировоззрения, пытающихся дать принципиальное обоснование историческому процессу, только марксизм учитывает и психологические, и социальные факторы настолько, чтобы позволить романисту развернуть полностью и индивидуальные характеристики и общественный фон; и только марксизм, пожалуй, достаточно динамичен, чтобы отразить непрерывную текучесть и смену явлений, связанных с современной войной.

В дополнение можно перечислить непрерывную текучесть и еще ряд особых условий, которые тоже являются существенными. О том, что тут требуется гений первой величины, говорить не приходится; если такой не явится, значит, не может быть и речи о создании «Войны и мира» нашего времени. Далее, — для того, чтобы на несколько лет отдаться работе над столь монументальным произведением, автор должен располагать достаточным досугом или заработком, а среди наших писателей немного найдется таких. Естественно также, что, подобно Толстому, это должен быть человек, обладающий литературным опытом и подготовкой как в техническом, так и в психологическом отношении. (В «Се-

¹ Нам думается, что нужно было и закономерное участие Л. Толстого в ряде походов и в героической обороне Севастополя. — Р е д.

востопольских рассказах», написанных за несколько лет до «Войны и мира», Толстой как бы прошел ранние этапы психологического освоения войны, на которых «застряло» сейчас большинство наших военных писателей, и это позволило ему перейти к освоению на более высоком уровне, в плане решения этических и исторических проблем). Трудно поэтому предполагать, что новая «Война и мир» будет создана никому не известным автором, хотя, с другой стороны, и в прошлую мировую войну, и в эту мы могли убедиться, что от писателей, пользующихся уже успехом и славой, едва ли приходится ожидать военных произведений большого значения.

Вопрос о происхождении автора играет немаловажную роль. Автор новой «Войны и мира» должен принадлежать к семье, жизнь которой была органически слита с национальной жизнью страны, хотя бы для того, чтобы, по примеру Толстого, он мог использовать биографии и характеры своих отцов и дедов. Он должен всецело разделять господствующую в стране систему убеждений и самым положительным образом оценивать ее военные усилия, которые, в свою очередь, должны носить истинно народный характер. Очевидно, что из четырех ведущих держав в числе объединенных наций Россия и Китай больше отвечают этим условиям, чем Англия и Америка, хотя это не значит, что последние полностью исключаются. Но форма большого исторического романа требует наличия устоявшейся литературной традиции. Только в Европе мы имеем такую традицию (воспринятую, разумеется, и Америкой). Это обстоятельство, пожалуй, понижает шансы Китая, — хотя опять-таки не исключает его окончательно. На основе всего сказанного естественно предположить, что новая «Война и мир» явится произведением советской литературы, или, во всяком случае, что шансы на ее появление в России больше, чем где бы то ни было.

Итак, мы сформулировали некоторые условия, которым должно отвечать произведение, претендующее на роль «Войны и мира» нашего времени. Это будет большой историче-

ский роман, написанный лет через десять или больше после окончания войны. Автором его явится человек, располагающий своим временем, который побывал на военной службе или в иной форме приобрел некоторый военный опыт. Вероятно, он будет марксист; скорей всего, хоть и не обязательно — русский; и бесспорно человек гениальный. Это будет не первое его произведение, но, вероятно, и не последнее. Появится ли в самом деле такое произведение, или хотя бы человек, способный его создать, — этого, разумеется, предугадать нельзя. Можно только утверждать, что в наше время оно может появиться — тогда как после той войны это было невозможно.

Переходя от гипотез к фактам, нужно сказать, что самым сильным претендентом является, повидимому, Михаил Шолохов. Его «Тихий Дон» из всей современной литературы ближе всего к «Войне и миру» и теоретические предпосылки у него имеются в большей степени, чем у кого-либо другого. Захочет ли и сможет ли Шолохов осуществить эту задачу и мыслимо ли вообще для писателя создать два исторических произведения такого масштаба — вопросы, на которые трудно ответить; сравнительный анализ «Войны и мира» и «Тихого Дона» мог бы дать почву для ответа, но это выходит за пределы задач настоящего очерка.

Отвлекаясь от схемы этого «размышления», нужно признать, что установка на идеальный случай, принцип «выжидания», покада появится законченное, совершенное произведение гениального творца, очень мало способствует реальному развитию военной литературы, да и всякой литературы вообще. Подобный подход оправдывается лишь тем соображением, что в процессе анализа гениального произведения искусства вскрываются принципы построения, применимые и к другим, простейшим образцам — так, разбор «Короля Лира» помогает уяснению общих законов драматургии, а не написанию второго «Лира». Размышления остаются размышлениями, а писатели будут продолжать писать то, что чувствуют, на основе того, что знают, и так, как умеют. И если бы после этого очерка явилась бы на свет новая «Война и мир», написанная в строгом соответствии с данны-

ми здесь формулами,— это было бы чудо, не уступающее любым библейским чудесам и столь же сомнительное по результатам, как многие из них. Но если он поможет и писателям

и читателям наглядней представить себе тесную зависимость между внешними, общественными условиями и актом художественного творчества — он оправдает свое назначение.

Перевод с английского
Е. КАЛАШНИКОВОЙ